

ПОЛИНА ДАШКОВА

Место под солнцем

«Астрель»



Полина Викторовна Дашкова

Место под солнцем

Текст предоставлен издательством «АСТ»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=118770

Дашкова П.В. Место под солнцем: АСТ, Астрель; Москва; 2002

ISBN 5-17-006567-1, 5-271-00074-5

Аннотация

Вчера – прима-балерина, обласканная поклонниками, прессой, а сегодня – выбор: жить не танцуя или просто умереть; вчера – счастливая жена, сегодня – вдова, потрясенная неожиданным и непонятным убийством мужа; вчера – стабильность и уверенность в будущем, сегодня – только вопросы: кто? почему? что будет дальше?..

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	33
Глава 3	59
Глава 4	88
Глава 5	116
Глава 6	137
Конец ознакомительного фрагмента.	152

Дашкова Полина Викторовна МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла, который можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный.
Владимир Набоков

Глава 1

Теплой сентябрьской ночью белый «Форд» свернул с проспекта Мира в один из тихих переулков неподалеку от Третьей Мещанской улицы. Из приоткрытых окон машины оглушительно орала эстрадная музыка. Встречные огни высветили на миг силуэт молодой женщины за рулем. Сидевшего рядом мужчину не было видно, он почти лежал, раскинувшись на мягком сиденье. Голова его то и дело падала женщине на плечо. Он громко, фальшивым тенорком подпевал развеселому шлягеру.

– Глеб, прекрати, – поморщилась женщина и выключила магнитофон.

– А я говорю, будет музыка! – Мужчина икнул и нажал

кнопку.

Шлягер зазвучал на весь переулок.

– Ты мог не напиваться хотя бы в честь моей премьеры? – Женщина оторвала руку от руля и легонько хлопнула мужчину по лбу. – Ты заснул в первом акте. Это было видно со сцены. Ты спал и даже храпел.

– Грязная клевета. Я вообще не храплю! Никогда. А во втором акте я не спал, я выражал восторг! – Он опять икнул.

– Правильно, – кивнула женщина, – в буфете. Ты выражал свой восторг в буфете так громко, что это было слышно в зале и на сцене.

– Ну подумаешь, вышел коньячку выпить. С тарталеткой. Имею право. Ты у нас звезда-премьерша, гений русского балета. А я так, тихий супруг при звезде, купец-меценат. Между прочим, я там кое-кого видел, в буфете. Ох, Катька, кого я там видел. – Глеб Калашников выпятил мокрые губы и трижды противно причмокнул.

– И кого же? – равнодушно спросила Катя.

– Этого твоего, придурка-поклонника. Я потому и нашумел, что надоело мне. Достал он меня, я ему так прямо и сказал: ты, говорю, меня достал... – Глеб смачно выругался и опять икнул.

Катя ничего не ответила, она высматривала место для парковки в огромном темном дворе, заставленном иномарками. Она очень устала, ей было лень загонять машину в крытый гараж.

– Слышь, премьерша, ты что, собираешься все эти веники домой тащить? – Глеб кивнул на заднее сиденье, заваленное цветами. – Они та-ак воняют, я от них чихаю.

– Ты бы вышел, помог мне вписаться, – попросила Катя, – не видно ничего.

– Счас сделаем, – важно кивнул Глеб, – вылезай, премьерша, я сам буду парковаться, ты не умеешь.

– Ладно уж, сиди.

Катя аккуратно припарковала машину у кромки тротуара. Она взглянула на темные окна квартиры и удивилась. Всего минуту назад, въезжая во двор, она заметила, что горит свет в гостиной. А теперь стало темно. Неужели Жанночка осталась ночевать и все-таки решила приготовить праздничный ужин? Услышала, как подъехала машина, погасила свет, сидит и ждет в темноте, с таинственным видом, хочет, чтобы вспыхнули свечи на накрытом столе, когда они с Глебом войдут в квартиру. Однако праздника не получится. Глеб пьян в дым, начнет материться, икать, рыгать, говорить пошлости, Жанночка обидится, уйдет плакать, как всегда.

Дома никакого застолья не предполагалось. Катя долго уговаривала Жанночку бросить домашние дела и поехать с ними на премьеру. Но домработница пожаловалась на головную боль и осталась дома.

После премьеры в театре был долгий обильный фуршет. Там, фланируя среди блейзеров, малиновых пиджаков, го-

лых надушенных плеч, Глеб Калашников запивал коньяк шампанским, кормил с ложки черной икрой молоденьких танцовщиц кордебалета, громко и матерно приглашал их подработать в своем знаменитом казино в качестве стриптизерок. Ему можно было все. Он спонсировал премьеру, и Камерный театр классического балета имени Агриппины Вагановой существовал на его деньги. Он здесь был полновластным хозяином, баринoм среди крепостных артистов.

Кате ужасно не хотелось выходить в банкетный зал, даже на несколько минут. Каждый раз после спектакля она записалась в своей маленькой гримуборной совершенно одна. В театре все знали эту ее привычку, после обычных спектаклей солистку никто не трогал. Но сегодня все-таки премьеры. В дверь без конца стучали.

Она нарочно долго снимала грим, стояла под горячим душем, одевалась, потом просто сидела в кресле, закрыв глаза. Мышцы ныли и гудели как провода под током. Тело еще переживало, повторяло каждое па. Леди Макбет неслась, крутилась в смертельном пируэте. Казалось, с тонких белых пальцев капает кровь. Невесомая леди, ангел смерти... Катя танцевала так, что зритель почти любил убийцу, любовался ею, понимал, оправдывал, а потом, спохватившись, удивлялся самому себе и, возможно, открывал нечто новое и важное в своей душе.

Господи, неужели получилось? Был красивый балет, остальное не имеет значения. В голове уже вертелись всякие

глупости: Глеб напился и скандалит, в дверь стучат, радиотелефон надрывается на примерном столике. Все. Надо идти. Никуда не денешься.

Катя открыла глаза и взглянула в зеркало. Она давно заметила, что после каждого спектакля лицо становится немного другим. Нечто новое появляется в глазах, в линии рта. С каждой своей героиней она проживает целую жизнь, от рождения до смерти. Только что она умерла вместе с кровавой леди Макбет, и теперь надо родиться заново, стать собой, Екатериной Филипповной Орловой, усталой тридцатилетней женщиной с натруженными балетными мышцами.

Выходить в банкетный зал без всякого макияжа нехорошо. Защелкают фотовспышки, потом в каком-нибудь журнальчике появится разворот с фотографией бледно-зеленой, измотанной, ненакрашенной примы. А рядом будет Глеб: пьяный, красный, со съехавшим набок галстуком, с шальными глазами и двусмысленной ухмылочкой на мокрых губах. Вот она, сиятельная чета, сливки московской богемы, любуйтесь, господа! И нечего им завидовать. Прима-балерина только из мрака зрительного зала кажется сказочной красавицей. На самом деле, оттанцевав премьеру, она выглядит старше своих тридцати, у нее темные тени под глазами, уставшая от грима кожа, бледные губы, острые ключицы, у нее муж хам, скандалист, почти алкоголик, детей нет и, наверное, уже не будет...

Катя расчесала длинные каштановые волосы, скрутила

их тугим узлом на затылке. Опять затренькал телефон, она вздрогнула и больно царапнула шпилькой шею.

– Он тебя совсем не любит, – услышала она хриплый шепот в трубке, – тебе лучше самой уйти, пока не поздно...

Катя нажала кнопку отбоя, отбросила телефон, словно ее ударило током. Аппарат скользнул по стеклянной поверхности гримерного столика, сшиб на пол большую бутылку лосьона и банку с тальком.

Еще две недели назад, когда первый такой звонок разбудил Катю в восемь утра, она жестко сказала себе: не дергайся, не обращай внимания. Если ты прима, солистка, если у тебя богатый муж, пятикомнатная квартира, дом на Крите, две машины и много всякого другого добра, всегда найдутся желающие обидеть и напугать. Тогда, в первый раз, хриплый женский шепот произнес:

– Сегодня на спектакле ты, сушеная Жизель, сломаешь ногу.

Потом сразу – гудки отбоя.

Сделав смертельное усилие, Катя улыбнулась своему бледному отражению. Немного губной помады, тонкий слой пудры, несколько капель духов. И никакой паники. Та, которая звонит, чувствует себя значительно хуже, чем Катя. Пусть она, телефонная шептунья, паникует, сходит с ума. А Кате ничего не страшно. Она станцевала сегодня леди Макбет.

Катя встала, оглядела себя в огромном зеркале. Гладкая

юбка из тонкой черной кожи, простой кашемировый пуловер цвета топленого молока, черные туфли-лодочки на среднем каблуке. Пожалуй, слишком строго и буднично, но она не собирается застревать на фуршете. Она устала и хочет спать.

– Катюха! – завопил Глеб, увидев ее в банкетном зале. – Радость моя, рыбонька, ну иди сюда, я тебя поцелую!

Он шел к ней пошатываясь, растопырив руки. Толпа раступалась, на лицах Катя замечала тактичное равнодушие, мягкие усмешки. Кто-то отворачивался, делая вид, будто ничего не происходит. Кто-то смотрел на Катю с искренним сочувствием. Фотовспышки слепили глаза. Глеб Калашников наступил на ногу пожилой даме-музыковеду, дама вскрикнула, шарахнулась в сторону, высокая ваза с фруктами рухнула на пол. Яркие апельсины и яблоки запрыгали по паркету, как теннисные мячики.

Катю поздравляли, целовали, надежное плечо партнера, танцовщика Миши Кудимова, закрыло ее от чьей-то наглой видеокамеры.

– Все отлично, Катюша, мы с тобой молодцы. Я уже смаываюсь, сил нет... Вот этого репортеришку с серьгой надо вывести отсюда, подожди, я сейчас.

Миша шагнул к громиле-охраннику, который со скучающим видом стоял в дверях, что-то быстро шепнул. Охранник подхватил под руку бесполое существо в кружевном лимонно-желтом пиджаке, с громадным фальшивым бриллиантом в ухе. Катя узнала его, это был один из самых скан-

дальных тележурналистов Москвы. Именно он только что упирал свою видеокамеру Кате прямо в нос, пытаясь выбрать план побезобразней.

«Он снимает рок-звезд, зачем ему классический балет?» – подумала Катя, провожая взглядом лимонный пиджак.

Через полчаса ей удалось усадить Глеба в машину. А еще через двадцать минут Катин белый «Форд» подъехал к дому в тихом переулке неподалеку от проспекта Мира.

Прихватив несколько букетов с заднего сиденья, они направились к подъезду. Глеб шел на заплетающихся ногах и напевал все тот же дурацкий шлягер. Споткнувшись, он обрушился на жену и повис на ней всей своей пьяной тяжестью. Кате едва удалось подхватить его и удержаться на ногах. Букеты крупных роз с целлофановым шелестом посыпались на асфальт. И в этот момент раздался негромкий выстрел. Сверху, на третьем этаже, в темном, распахнутом настежь окне мягко качнулась светлая занавеска.

* * *

Народный артист России, лауреат Ленинской премии за выдающиеся заслуги в советском киноискусстве, лауреат «Оскара» за лучшую мужскую роль в нашумевшем фильме 1989 года «Задворки империи», депутат Государственной думы, профессор Константин Иванович Калашников сидел в кафе на площади Сан-Мишель и прихлебывал кофе с моло-

ком маленькими глотками. Каждый раз, прилетая в Париж, он обязательно заходил в это кафе.

Когда-то давно, в счастливом шестьдесят четвертом году, худой узколицый Костя Калашников играл белого офицера в фильме о Гражданской войне, скакал на коне по степи, красиво умирал от удара красноармейской сабли. Вечерами после съемок в дрянной гостинице маленького степного городка читал запоем Хемингуэя. В дикой казахской степи было приятно читать о Париже. Париж состоял из сиреневой дымки и бесчисленных маленьких кафе. В гостиничном буфете кормили хлебными котлетами и сухой желтой пшеникой.

В шестьдесят четвертом артисту кино Константину Калашникову по паспорту было двадцать пять, на вид – не больше двадцати, а чувствовал он себя на восемнадцать. Эта странная арифметика создавала иллюзию, будто время может двигаться вспять, и дарила робкую надежду на бессмертие. Он читал Хемингуэя и мысленно шел по Парижу, вскидывая молодое породистое лицо навстречу нежному туману Монмартра.

В соседнем номере, за тонкой гостиничной стенкой, актриса Надя Лучникова напевала песню молодого, категорически запрещенного Александра Галича: «Облака плывут в Абакан...» Надя играла красную партизанку. В фильме Костя ее допрашивал, грязно приставал, она отвешивала ему звонкую партизанскую пощечину. Потом ее расстреливали, Костя-белогвардеец командовал «пли» и играл лицом слож-

ные чувства: смесь классовой ненависти и тайной безнадежной влюбленности.

Глубокой ночью Костя перебирался в номер к Наде, ее соседка, помощник режиссера Галочка, перебиралась в номер к оператору Славе, а сосед Славы, молоденький осветитель Володя, уходил спать в степной городок, к одинокой библиотекарше.

Панцирные гостиничные койки неприлично скрипели, но этого никто не слышал. На рассвете по бледному небу плыли палевые степные облака. Надя Лучникова расчесывала перед открытым окном длинные пепельно-русые волосы, втягивала холодный горьковатый воздух тонкими ноздрями и опять напевала Галича. Облака поворачивали с востока на запад и плыли к Парижу, сливались с нежной акварельной дымкой, пропитывались запахом кофе и духов.

У Нади был маленький флакон «Шанели №5». Потом многие годы этот тяжеловатый сладкий аромат напоминал Косте вовсе не Париж, а казахскую степь и грязную гостиницу со скрипучими койками.

Через полгода они с Надей скромно расписались. Она была на шестом месяце, живот заметно выпирал, и тетка в загсе смотрела на них неодобрительно.

Сына назвали Глебом.

Знаменитая фотография Хемингуэя – мужественное лицо, борода, высокий грубый ворот свитера – висела в московской квартире над тахтой, покрытой клетчатым пледом.

Кроме тахты, пледа и этой фотографии, у них с Надей не было почти никакого имущества.

Через год Костю Калашникова пригласили сыграть Феликса Дзержинского. Потом ему поручили читать приветственные стихи на партийном съезде. Еще через год он стал заслуженным артистом, работал в одном из лучших театров Москвы, без конца снимался.

Квартира обрастала мебелью, Костя обрастал здоровым жирком. Надя больше не снималась, варила диетические низкокалорийные супчики, терла морковку, растила Глеба.

В конце семидесятых Костя Калашников попал в Париж. Ему доверили играть Ленина. Он вовсе не был похож на пролетарского вождя, однако для партийного режиссера, работавшего в традициях социалистического реализма, это не имело значения. Вождь в исполнении Калашникова получился высоким, элегантным интеллектуалом.

Париж действительно состоял из акварельной дымки и маленьких кафе. Костя прошел по всем закоулкам, о которых мечтал, читая Хемингуэя, и к нему вернулись его восемнадцать лет. Время двинулось вспять, запахло вечностью. Он сидел в кафе на площади Сан-Мишель и смотрел в огромные, дымчато-голубые глаза Шурочки Львовой. Шурочка была последним отпрыском старинного княжеского рода, многие считали ее самой красивой и изысканной актрисой России. В фильме о Ленине она играла Инессу Арманд.

Вернувшись домой, Костя развелся с Надей и женился на Шурочке. Ровно год дымчато-голубые глаза княжны глядели только на него. Они с Шурочкой снялись вместе в телевизионной двухсерийной лирической комедии, прославились еще больше.

Однако к следующей весне у Кости начался гастрит. Княжна, кроме сосисок, ничего варить не умела. К гастриту прибавилось нервное переутомление. Костя вдруг обнаружил, что жизнь состоит из миллиона отвратительных бытовых мелочей. Эти мелочи, словно тучи таежной мошки, набрасывались, сосали горячую Костину кровь, больно вгрызались в тонкую артистическую душу.

Собираясь утром в театр на репетицию, укладывая чемодан перед гастрольной поездкой, он не мог найти ни одного чистого носка, на рубашках не хватало пуговиц, свитера и брюки были распаханы безобразными комьями по полкам стенного шкафа вперемешку с лифчиками и колготками княжны.

Костя затосковал по Надиной тертой морковке и диетическим супчикам. Княжна, в свою очередь, успела соскучиться по предыдущему мужу, главному редактору крупной партийной газеты. Она была не менее талантлива и знаменита, чем Костя, бытовые мелочи тоже ранили ее тонкую душу. А главный редактор хоть и был человеком скучным, номенклатурным, зато его общественное положение и доходы позволяли иметь домработницу.

Как известно, «служенье муз не терпит суеты». За того, кто служит музам, суету должен терпеть кто-то другой. Костя Калашников вернулся к своей терпеливой Наде вовремя. Гастрит не успел стать хроническим, нервное переутомление не перешло в тяжелую депрессию, ни талант, ни здоровье не пострадали. Костя Калашников помолодел, похудел, его рубашки сверкали чистотой. Ровесница Надя выглядела рядом с ним как пожилая интеллигентная тетушка рядом с балованным обожаемым племянником.

Калашникову пришлось сыграть Дзержинского, Ленина, Фрунзе и даже молодого Брежнева. Но, к счастью, не только их. Он вовсе не был «придворным лицедеем». Партийно-положительные герои служили для него чем-то вроде индульгенций. Образами обаятельных, умных коммунистов Калашников зарабатывал себе право сниматься у опальных режиссеров, отпускать двусмысленные остроты публично, со сцены, иметь в домашней библиотеке запрещенные советской цензурой книги, колесить по миру. Его искренними поклонниками были многие крупные чиновники ЦК, а также их жены, тещи, свояки. Он умел рассмешить до упада и заставить плакать любого, даже самого тупого и замшелого кремлевского старца.

Иногда ему удавалось улаживать проблемы своих менее удачливых коллег, добиваться, чтобы какой-нибудь «идеологически чуждый» фильм был снят с полки и прокручен хотя бы вторым или третьим экраном, то есть показан в

нескольких небольших окраинных кинотеатрах. Впрочем, в благородном заступничестве он всегда соблюдал меру. Когда чувствовал, что «замолвить словечко» неуместно и опасно, предпочитал промолчать.

Его приглашали на закрытые правительственные банкеты, он представлял советскую культуру за границей, был за-всегдаем дипломатических приемов. С возрастом талант и обаяние не убывали.

А сын Глеб жил своей веселой и сложной подростковой жизнью, устраивал вечеринки с картами и красивыми девочками, умел смешно рассказывать анекдоты, отлично разбирался в марках машин и мог с закрытыми глазами отличить настоящие американские джинсы от польской подделки.

Учился он плохо, однако лень и шалости Калашникова-младшего прощались и забывались сами собой, стоило Константину Ивановичу появиться в школе, улыбнуться нескольким учительницам, пожать руку директору. Теплая тень отцовской популярности надежно прикрывала Глеба от любых невзгод, и народный артист за мальчика не беспокоился.

А Надя все терла морковку для мужа и сына, варила супы, вылизывала огромную квартиру, летом на даче холила грядки с укропом и салатом, на обильных домашних застольях не снимала фартука. Ее жюльены, пирожки с визигой, гуси с яблоками, молочные поросята и сливочные торты были известны всей киношно-театральной Москве.

Давно можно было завести прислугу и освободить Надю от бремени домашних забот. Но Надя за эти годы стала фанатиком красивого быта. Она не могла никому доверить чистоту в доме и здоровье пищеварительного тракта мужа и сына.

Надя превратилась в толстую пожилую домохозяйку. Все давно забыли, что когда-то она тоже была актрисой, не менее талантливой, чем ее муж. Она сыграла несколько блестящих ролей в кино, кое-где в провинции в кабинах шоферов-дальнобойщиков среди наклеенных картинок еще попало ее тонкое скуластое лицо, счастливая белозубая улыбка. Изредка в магазине или на рынке она замечала внимательные, настойчивые взгляды и читала в чужих любопытных глазах: «Неужели это Надежда Лучникова? Та самая... Что годы делают с женщиной, ужас!»

Но настоящий ужас вошел в ее размеренную, осмысленную жизнь вкрадчиво и незаметно, вместе с богатством и фантастической славой мужа.

Разумеется, она знала: Костя ей изменяет. А как же иначе? Вокруг столько молодых красивых актрис, и не только актрис. Ему как воздух необходимо состояние влюбленности. Он не может работать без этого. Но влюбленность и семья – разные вещи. Костя не уйдет. Он привык к налаженному, продуманному до мелочей, удобному быту, к уютной тихой Надюше, которая облизывает его, как новорожденного теленочка, и ничего взамен не просит. Ну кто еще спосо-

бен на такое самопожертвование, спрашивается? Какая молоденькая-хорошенькая станет гладить вороха рубашек, стирать руками в тазике свитера из альпаки и кашемира, не терпящие машинной стирки, чистить светлые замшевые ботинки в грязном слякотном ноябре, протирать байковой тряпкой каждое утро коллекцию старинного фарфора, чашку за чашкой, таскать пудовые сумки с рынка, кормить два раза в неделю по несколько десятков гостей, а потом до четырех утра убирать после них дом, мыть посуду. Какая, спрашивается, молоденькая-хорошенькая станет следить за Костиным пищеварением, со всеми неприятными медицинскими подробностями? Влюбленность – это поэзия, а быт – грязная, неблагодарная проза. Особенно быт гениального актера Константина Ивановича Калашникова.

Однако Надя ошиблась. Она все еще жила старыми представлениями, она не учла, что сумки с рынка можно возить в багажнике машины, гладить рубашки и протирать сервизы сумеет высокооплачиваемая домработница, нежные свитера из альпаки отлично выглядят после дорогой американской химчистки, и вообще, когда денег очень много, быт уже не требует героических усилий.

Ужас вошел в жизнь Нади Калашниковой в очаровательном облике юной рыжеволосой студентки театрального училища Маргариты Крестовской. Маргаритины двадцать лет, длинные малахитовые глаза, хрупкая точеная фигурка, румяный чувственный рот – все это оказалось куда существен-

ней многолетних уютных привычек.

Вместе с Маргошей к Калашникову вернулась яркая, шальная юность, и расстаться не было сил. «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней...» Знаменитые строки Тютчева звучали оправданием для Кости и приговором для Нади.

Маргоша была решительна и сумасбродна. Константин Иванович, как в раннем детстве перед новогодней елкой, успел лишь зажмуриться. А когда открыл глаза, рядом с ним была уже не пятидесятисемилетняя толстая верная Надя, а свежая, радостная Маргоша. Хрупкий сияющий подарок, горячее утешение «на склоне дней».

Проблема с жильем решилась легко и быстро. Недостатка в квадратных метрах и деньгах у Калашникова не было. Надя оглушенно, молча поселилась в двухкомнатной добротной квартирке в Крылатском. Разве так уж плохо в ее возрасте? Чистый воздух, тишина, источник с целебной водой в двух шагах от дома.

Сын Глеб стал бизнесменом. Костя тоже давно и активно занимался каким-то сложным бизнесом, связанным с кино, телевидением и рекламой. Взрослый сын и бывший муж честно позаботились о том, чтобы Надя ни в чем не нуждалась на старости лет...

...Сидя в одиночестве в своем любимом парижском кафе, Константин Иванович почему-то вдруг подумал о том, что ни разу за многие годы не привез сюда Надю. Она состари-

лась, так и не побывав в Париже. Нехорошо.

Впрочем, это ее выбор. Она сама решила принести себя в жертву его таланту и карьере. Никто не неволил. Ей просто не хватило ума понять, что самопожертвование выглядит красиво и благородно лишь в отдельных, экстремальных ситуациях, когда война, голод, тяжелая болезнь. А быт пожирает с потрохами даже самые высокие порывы. Ну что за подвиг – гладить рубашки и тереть морковку? Ведь была красавицей, талантливой актрисой, и все простирала, проварила – добровольно. Спрашивается, кто виноват, что стала старой, толстой, скучной? Никто. Надя никого и не винила, только смотрела сухими глазами, которые с годами сделались совсем невыразительными.

Константин Иванович вздохнул и поморщился. Вот уже почти три года он вынужден повторять самому себе утешительные истины: нельзя жить с человеком из жалости, насильно мил не будешь и так далее. Эти банальности нужны ему, как витамины, для поддержки жизненного тонуса. Хотя Надя не просила о жалости, не пыталась быть «милой насильно», все равно – сама виновата. Он ведь артист до мозга костей. Он не может дышать без свежих страстей, без ярких чувств, без юного праздничного личика Маргоши, наконец. Не может – и все. Он тоскует по Маргоше каждую секунду, даже Париж без нее кажется пустым и пресным. Она прилетает сегодня в половине третьего утра по местному времени. Вырвалась к нему на пару дней, просто так, потому что

соскучилась. Ждать осталось совсем немного. Уже полночь, он побудет в кафе еще полчаса, потом пройдет пешком по бульвару Сен-Жермен, до платной стоянки, сядет в маленький серебристый «Рено», который взял здесь напрокат, и отправится в аэропорт встречать свою красавицу...

Хозяин за стойкой тщательно протирает бокалы. Стена за ним была заклеена денежными купюрами разных государств. Вон ту старую советскую десятку с профилем Ленина подарил хозяину Константин Иванович в семьдесят девятом году. И в каждый свой приезд он дарит хозяину кафе на площади Сен-Жермен бумажную денежку на память. Деньги в России все время меняются. Хозяин берет купюру, кивает без всякой улыбки, говорит: «Мерси, месье». Но не помнит, не узнает.

Парижане вообще помнят и узнают только самих себя. Нет более надменного города в мире. Сколько раз театр приезжал на гастроли, сколько фильмов переведено на французский, показано по телевидению, а все не узнают. В упор не видят.

Константин Иванович любил пожаловаться на бремя всемирной славы. И в Нью-Йорке, и в Квебеке, и в Риме обязательно кто-то оглянется, улыбнется, произнесет имя если не самого Калашникова, то кого-нибудь из его известных персонажей. А по Москве пройти пешком невозможно, в магазинах вот уже лет двадцать замирают кассирши, глядят с от-

крытыми ртами, гаишники не штрафуют, просят автограф.

– Силь ву пле, месье? – Хозяин оторвал взгляд от своих бокалов, взглянул вопросительно, без улыбки. – Анкор кафе?

Калашников вздрогнул. Оказывается, он тупо, не отрываясь, смотрел в это тонкогубое французское лицо, смотрел и не видел, думал о своем. А кофейная чашка давно опустела.

– Уи, месье, кафе-о-ле, – эхом отозвался Калашников и, продолжая пристально глядеть в блестящие черные глаза хозяина, добавил на своем хорошем французском: – Вы не узнаете меня? Я ведь много раз заходил к вам. Я очень известный русский артист.

– Нет, месье. Я вас не знаю. Вам кофе с сахаром?

«И что на меня нашло? – удивился Константин Иванович. – Глупость какая... Даже если этот гаденыш меня узнал, все равно не скажет. Будет молчать, как партизан, и с гордым видом шлифовать свои бокалы».

Калашникову вдруг захотелось молодо, смешно схулиганить, выкинуть какую-нибудь забавную штуку. Просто так, потому, что прилетает Маргоша, потому, что теплая сентябрьская ночь, Париж, и какие там пятьдесят девять лет? Опять восемнадцать, не больше. Жаль, нет зрителей. Тонкогубый потомок Наполеона не в счет.

В кармане пиджака затренькал радиотелефон. Он сразу узнал голос своей невестки Кати, удивился и скосил глаза на часы. Да, здесь полночь, а в Москве, стало быть, два часа

ночи.

– Константин Иванович, Глеба убили.

– Прости, что, Катюша? – Было отлично слышно, но он не понял.

Разве можно такое понять с первых слов?

– Его застрелили полтора часа назад, у подъезда. Мы возвращались с премьеры. Прилетайте, пожалуйста, в Москву.

* * *

Оля Гуськова терпеть не могла метро, особенно кольцевую линию и центральные станции. Ее раздражало все: подсвеченные попугайные мозаики Новослободской, планеристы, колхозники и пионеры на плафонах Маяковки. Даже если не глядишь в расписной потолок, все равно чувствуешь присутствие этих плоских жизнерадостных призраков. Над платформами станции Проспект Мира огромные люстры свисают с потолка, качаются, словно хотят упасть на голову.

Из глубины преисподней, из черного туннеля несетя ветер, пахнет паленой резиной, вспыхивают огни. Люстры держатся на тонких, ненадежных крючьях, вот сейчас еще один порыв ветра – и ледяная сверкающая громадина рухнет прямо на Олю. Возможно, так будет лучше для всех...

Поезд остановился. Люстра не рухнула, продолжала медленно качаться, и желтоватые световые блики неприятно

скользнули по лицу, когда Оля вошла в вагон.

– Осторожно, двери закрываются...

В вагоне пахло приторными духами. Оля чуть поморщилась и села в уголок, подальше от двух одинаково одетых, накрашенных, надушенных девиц, и вообще подальше от всех. Благо, народу в это время совсем мало. Ее раздражали запахи, звуки, взгляды. Так раздражали, словно вся кожа содрана, каждый нерв оголен.

Оля вытащила из рюкзака тоненький Молитвослов, открыла наугад и стала читать, низко опустив голову.

«...и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окажен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний...» Губы ее чуть вздрагивали. Она старательно повторяла про себя слова, которые знала наизусть.

– Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Курская, – сообщил механический голос.

Надо убрать Молитвослов в рюкзак, выйти из вагона, перейти на другую линию. Поздно уже, метро закрывается, поезд может оказаться последним. Если успеть на пересадку, всего через полчаса Оля будет дома. Потом придется покормить бабушку Иветту, вымыть, уложить в постель, поговорить, вернее – выслушать очередную лекцию о том, что она, Оля, живет неправильно. Да, придется выслушать, сжав зубы и согласно, понимающе кивая, иначе Иветта Тихоновна не даст покоя, будет стонать всю ночь, разыграет красивый сердечный приступ, заставит вызвать «Скорую». Затем Оля

будет тихо извиняться перед врачом, смиренно стерпит грубый выговор за напрасный вызов к старой сумасбродке. «Девушка, ну вы что, сами не понимаете? У вашей... кто она вам? Бабушка? У вашей бабушки старческий маразм, а сердце здоровое, любой молодой позавидует...»

Конечно, Оля отлично знает: сердце у бабушки здоровое. Каким оно еще может быть, если вместо него «пламенный мотор»? И про маразм знает, и что врачи «Скорой» теряют свое драгоценное время, а зарплаты у них мизерные, и, может быть, сейчас, пока они тут возятся с маразматической Олиной бабушкой, кто-то молодой погибает, ожидая бригаду. И молодая жизнь значительно важнее, чем капризы сумасшедшей старухи. Все это Оля знает, возражать не собирается, готова сунуть в золотую медицинскую руку свой последний мятый полтинник. Простите, больше нет... Они простят. Полтинник – это мало, но они простят. Оглядевшись в нищей однокомнатной клетушке, они поймут, что больше Оля дать не может.

А если их не вызывать, Иветта Тихоновна выбежит на лестничную площадку, начнет барабанить в дверь соседям, орать: «Помогите! Умираю!», соседи позвонят в милицию.

Лучше стерпеть обязательный вечерний монолог старушки, в конце концов, все вместе – еда, мытье, лекция о смысле жизни – займет не больше часа. Потом можно наконец закрыться на кухне, остаться одной, оглохнуть, ослепнуть, ни о чем не думать...

Когда она подошла к вагонной двери, кто-то осторожно тронул ее за плечо:

– Девушка, вы уронили...

Пожилой мужчина протягивал ей маленькую цветную фотографию.

– Да, спасибо. – Оля не глядя взяла снимок.

Улыбающееся лицо Глеба Калашникова исчезло в кармане потертого старенького рюкзака. Минуту назад фотография выпала из Молитвослова.

* * *

– Заказуха. Все как по писаному. – Старший следователь Московской городской прокуратуры Евгений Николаевич Чернов затоптал окурок и уставился в сизое рассветное небо. – Выстрел в голову, правда, единственный, но смертельный. Никаких следов, даже оружия нет.

– Нет оружия – это тоже неплохо. Вдруг все-таки не заказуха? Ибо если здесь был не профессионал, то это не совсем «глухарь» и есть шанс найти убийцу, – задумчиво произнес майор Кузьменко.

– Ага, как же, размечтался, – Чернов махнул рукой, – бывает, и профессионал не бросает оружия. А если здесь одноразовый киллер работал... Нет, Ваня, «глухарь», чистый «глухарь», помяни мое слово. Ведь ни следочка, мать твою, ничегошеньки. Дырка от бублика. Ладно, поехали. Светает.

Следователь прокуратуры Чернов и майор УВД Кузьменко были последними, кто остался из группы, прибывшей на место преступления в тихий двор на Третьей Мещанской. Все остальные уже уехали, труп увезли в морг. Было ясно, что по горячим следам это убийство раскрыть не удастся. Никаких свидетелей, кроме жены убитого. А она смотрела на мужа, который умер у нее на руках, и в густых темных кустах никого не видела.

Полтора часа назад служебная собака взяла след из кустов от детской песочницы. След оборвался на трамвайной остановке. Последний трамвай останавливался на Мещанской около часа ночи. А выстрел прозвучал в половине первого. Убийца был один, пришел пешком либо приехал на трамвае. Машина его не ждала. И скрылся он тоже пешком, растворился в черноте спящих Мещанских улиц, вскочил в прицепной вагон – и был таков. Конечно, завтра утром будут опрошены все водители трамваев, проезжавших здесь ночью. Возможно, кто-то и вспомнит припозднившегося пассажира, однако не факт, что убийца был единственным пассажиром, не факт, что водитель сумел разглядеть...

– Надо бы еще разок с балериной побеседовать, – Ваня Кузьменко сладко потянулся, хрустнул суставами, – очень уж она спокойная женщина. Прямо железная леди. Родного мужа кончили, можно сказать, в ее объятиях. И ни слезинки. Кстати, объятия меня очень смущают. Ведь могли запросто промахнуться, в нее попасть. Может, в нее и метили?

– Издеваешься? – усмехнулся Чернов. – Калашников – владелец казино с ночным стриптизом, жадный, скандальный, пьющий, бандиты у него тусуются стаями, каждую ночь. А она кто? Ножкой на сцене машет? Эти, как их... фуэте крутит? Кстати, она потому такая спокойная, что у балерин выдержка как у космонавтов. Это я точно знаю. У меня дочка на хореографию два года ходила, там муштра круче армейской. Не выдержала, бросила. А вообще, Ваня, чуёт мое сердце, влипли мы с тобой в «глухарь».

– Вот вернется народный артист Калашников из Парижа, начнет своим депутатским мандатом размахивать, по генералам ходить, да что по генералам, он с замминистром нашим раз в неделю в бане парится... Вот тогда и будет нам с тобой «глухарь», Женя. Так по ушам дадут, что навек оглохнем. Гений русского кино лишился единственного сына! Найдите убийцу! А уж в прессе вонь пойдет... ужас!

– Не надо было единственного сына в игорный бизнес пихать, – проворчал Чернов, – это долголетию не способствует. Такие вот богатенькие не то что состариться, повзрослеть не успевают. Сначала он отпрыска в кино пихал, не вышло. Сам-то Калашников классный актер, никто не спорит. Однако на детях природа отдыхает.

– Злой ты, Женя, – покачал головой майор. – Калашников его никуда не пихал. Насчет кино – не знаю, а вот с бизнесом... Мальчику наверняка самому кушать хотелось. Такие с детства привыкают хорошо кушать, вкусно. А уж если все

вокруг громко чавкают, так у любого слюнки потекут, даже у сытого.

– Ну, поехали, что ли? – Чернов шагнул к машине.

– Ты езжай, а я хочу еще разок с балериной побеседовать. И с этой их нервной домработницей, прямо сейчас, – задумчиво произнес Иван, – недопонял я кой-чего.

– Брось, Ваня, не спеши, – Чернов покачал головой, – это чистый заказняк. Жена и домработница ничего нового к сказанному не добавят. На данный момент, во всяком случае. Они вообще спать легли.

– Не легли. Вон окошко светится. Эта балерина хоть и железная леди, а все-таки вряд ли сумеет уснуть. Она ведь с Калашниковым восемь лет прожила.

В огромном доме действительно светилось только одно окно. На третьем этаже сквозь задернутые занавески проби-вался слабый огонек то ли бра, то ли настольной лампы.

– Она тебя, Ваня, сейчас вряд ли ждет. Не думаю, что будет рада. А тебе, между прочим, с ней потом много придется разговаривать. Так что прояви ты мужской такт, не трогай женщину в горе. Дай ей опомниться. Кстати, вопрос на засыпку: ты знаешь, кто у Калашникова «крыша»?

– Валера Лунек. Славный московский авторитет Валерий Борисович Лунько, 1959 года рождения, русский, трижды судимый. Является главой крупной преступной группировки, контролирующей часть игорного бизнеса Москвы, – отчеканил без запинки майор Кузьменко, – в том числе и ка-

зино «Звездный дождь», которое принадлежало покойному Калашникову Глебу Константиновичу.

– Пятерка тебе, майор, – улыбнулся Чернов, – а кто из молодняка положил глаз на хозяйство Лунька вообще и на «Звездный дождь» в частности?

– Ну, многие. Кусок-то лакомый. Однако, по моим данным, последний наезд был произведен молодым лаврушником, авторитетом Голбидзе, кличка Голубь, контролирует гостинично-проституточный бизнес и считает, что прибрать к рукам еще и казинщиков было бы вполне логично.

– Пятерка с минусом, – покачал головой Чернов, – Голубь не авторитет, законники его своим не считают. Он «апельсин». Его короновали за деньги.

– А ты думаешь, в наше время это важно? Кстати, Голубь ввинтил в «Звездный дождь» своего наблюдателя, блатного аристократа, потомственного грузинского князя Нодарика Дотошвили. Люди Лунька его вычислили, а Калашников придумал подложить под Нодарика свою лучшую девку, королеву стриптиза Лялю Рыкову. Ляля, в свою очередь, тонко раскрутила князька на игру, и он сам не заметил, как просадил в «блэк джек» пятьдесят тысяч баксов.

– Хорошая у тебя, Ваня, агентура, – хмыкнул Чернов, – и что дальше было?

– А ничего. Нодарик, хоть и князь, с деньгами расставаться очень не хотел. До слез. Вот Калашников его и пожалел, вроде как простил. Теперь человек Голубя ходит в должни-

ках у казинщика. И от Ляли оторваться не может. Влюбился. Тоже, говорят, до слез. Калашников его и в этом понял, Ляле отпуск дал, чтобы князь не скрипел зубами, когда она свой стриптиз перед публикой танцует. Все это держится как бы в секрете и от Голубя, и от Лунька.

– А наезд? – спросил Чернов.

– Наезд был до того, как Нодарик появился в казино. Знаешь, аккуратный такой наездик, без стрельбы и мордобоя. Просто разговор. Мой один человек присутствовал. Я ведь Голубя давно пасу, все думаю, пора ему, сизокрылому, в родную голубятню. – Кузьменко сладко, по-кошачьи, зажмурился. – Вот тут, на этой мокрухе, я и раскручу его, сердечного.

– Это вряд ли его работа, – пожал плечами Чернов, – зачем ему? Вот князек Нодарик – да, ему Калашникова заказать при таком раскладе в самый раз. Да и заказывать необязательно, мог сам шлепнуть из кустов запросто. Ну ты как, Ваня, едешь или нет? Я тебе все-таки советую погодить, не лезь ты сейчас к балерине.

– Пожалуй, ты, Женя, прав, – ответил майор, немного подумав, – просто азарт у меня. Очень хочу Голбидзе зацепить. Давно хочу... Ладно, поехали. Пусть балерина отдыхает пока.

Глава 2

За окном светало. Катя знала, что не уснет. У нее перед глазами стояло мертвое лицо Глеба. Она еще чувствовала на ладонях его кровь, еще слышала негромкий хлопок из кустов. Было странно, что короткий звук выстрела может так долго держаться в ушах, сливаясь с гулкой тишиной квартиры.

Катя загасила сигарету, включила чайник. На ней был теплый махровый халат, шерстяные носки, но все равно кололо озноб.

Нельзя вот так сидеть всю ночь. Надо чем-то занять эти страшные пустые часы. Краем сознания она понимала, что шок еще не прошел. Если бы прошел, она могла бы заплакать. Но пока не может. И не знает, куда себя деть.

В квартире стояла глубокая, обморочная тишина. Жанночка заснула в гостиной на диване под тонким пледом. Катя сидела на кухне, курила, тупо уставившись в дурацкую абстрактную картинку на стене, подаренную каким-то давним приятелем-художником.

Картинка не нравилась ни ей, ни Глебу, но художник часто бывал в гостях и каждый раз придирчиво осматривал стены, искал свое драгоценное творение. Чтобы не обидеть непризнанного гения, Катя повесила картинку на кухне. Художник пил чай и радовался: вот висит его шедевр, смотрят на него

каждый день.

Чайник тихонько забулькал и автоматически выключился. Катя бросила в большую фарфоровую кружку сразу два пакетика «Пиквика», размешала сахар и опять застыла, обхватив ладонями горячие бока кружки. Она вдруг подумала, что, наверное, напрасно не рассказала тому мрачному милиционеру майору про анонимные звонки.

А может, правильно сделала, что не рассказала? Вообще какое это теперь имеет значение? Глеба убили прямо у нее на руках. Она почувствовала, как сильно дернулось его тело и тут же застыло, обмякло. Глеб даже не успел ничего понять, удивиться, испугаться.

Всего миг назад он матерился, напевал дурацкий шлягер, его глаза, веселые, пьяные, такие привычные, серо-голубые, с зеленоватым ободком вокруг зрачка, с припухшими веками, с короткими рыжеватыми ресницами, вдруг стали чужими, ледяными и глядели куда-то сквозь Катю.

Фонарь над подъездом светил ярко, слишком ярко, чтобы обмануться, соврать себе, будто Глеба всего лишь ранили и если «Скорая» приедет прямо сейчас, то успеют спасти, реанимируют, и потом можно будет ухаживать, кормить с ложечки кашкой и фруктовым пюре, не спать ночами, прислушиваться к частому хриплому дыханию, надеяться на лучшее, поставить на ноги, начать жить сначала, как-то совсем иначе...

Они знали друг друга с раннего детства. Самые первые, расплывчатые, почти младенческие Катины воспоминания были связаны с Глебом Калашниковым.

Тихое прозрачное лето, скрип качелей, цветные блики на песке, огромная веранда с мозаикой из синих, красных, желтых стеклышек, занозистый забор в глубине дачного участка, ветки орешника, блестящие липкие лепестки лютиков, такие желтые, что больно смотреть. Кате три года, Глебу пять. Пухлый губастый мальчик Глебчик с волосами цвета лютиковых лепестков, такой большой, важный. Маленькой Кате до него еще расти и расти. Он все знает и ничего не боится. Он принес ей живого ежика, завернутого в мятую панамку. Ежик свернулся клубочком, тихо напряженно сопел.

– Держи, смотри, чтобы не убежал. А я молока принесу.

Бежево-серебристый таинственный зверь кололся даже сквозь ткань панамки. И сопел, как Катина бабушка Зинаида, когда сердится...

Детские воспоминания рассыпались, словно обрывки старой киноплёнки, таяли, как след дыхания на холодном стекле. Чья это была дача, кто у кого гостил, дождался ли ежик своего молока, убежал ли – не важно. Потом было много всего – детские новогодние елки в Доме кино, какие-то взрослые вечеринки, кусок орехового торта, съеденный напополам под столом («Глеб, ты только никому не говори, мне нельзя, вот последний раз откушу, и все...»).

Потом – первые вечеринки без взрослых, Кате четырна-

дцать, Глебу шестнадцать, все девочки, кроме Кати, – случайные, томно курят, бегают пудрить носы к зеркалу в прихожей, слишком громко смеются, пухленькая с белыми кудряшками ушла плакать в ванную, Катя услышала горькие всхлипы, заглянула, стала утешать.

– Я без него умру... – Девочка шмыгала носом, растирала кулачками черные потеки туши по щекам.

Кто-то все время умирал без Глеба Калашникова. Какая-то тихая Ирочка из параллельного класса пыталась резать вены. Катя не могла понять, почему? Что они все в нем находят? Он был невысокий, крепенький, толстогубый, грубый. Матерился, как мужик у пивного ларька, и шуточки все какие-то пивные, водочные, и однообразные смешные истории, как кто-то нажрался до беспамятства, куда-то свалился, потерялся, нашелся, чуть не попал в милицию, проснулся у чужой жены под тумбочкой. Ночь напролет он мог резаться в дурачка, ковырять в зубе обломком спички с таким сонным, тупым лицом, что становилось страшно, если взглядеться. А очередная Ирочка или Светочка таяла от умиления, закатывала глазки, пудрила носик, уходила рыдать в ванную.

Для Кати Глеб был как близкий родственник, почти брат. Они оба – единственные дети. Катин папа, писатель, кинодраматург Филипп Григорьевич Орлов, с детства дружил с отцом Глеба. Разговоры о том, что детей не худо бы поженить, велись много лет подряд. Не то чтобы всерьез, но и не совсем в шутку. В самом деле, это было бы удобно. Не надо

знакомиться и выстраивать отношения с новыми родственниками, не надо пускать в свой уютный семейный круг чужих, посторонних людей. Мама Глеба, тетя Надя, говорила, что для любой другой девочки, кроме Кати, была бы отвратительной свекровью. А Катюшу знала с пеленок и любила почти как родную дочь.

Глеб и Катя только посмеивались над радужными планами взрослых. Катя для Глеба была «своим парнем», младшей сестренкой. Глеб для нее – чем-то вроде близкой подружки. Им вместе было уютно, весело, спокойно, но не более. Выйти замуж за Глеба – это все равно что за собственное детство.

Катя училась в Московском хореографическом училище, Глеб во ВГИКе, на сценарном отделении. Каждый крутил свои романы, иногда они с удовольствием обменивались впечатлениями.

Катя занималась классическим балетом с шести лет. Почти вся ее жизнь проходила у станка, в репетиционном зале, на сцене. С детства она привыкла к таким психическим и физическим перегрузкам, рядом с которыми все прочие – пустяки. При видимой невесомости Катя Орлова твердо стояла на ногах, и на полупальцах, и на пальцах.

В классических арабесках ничто не держит на земле, единственная точка опоры – большой палец ноги, но ты не упадешь. Взлететь можешь, упасть – нет. Чтобы держаться и не падать, крутить без передышки десятки чистых пируэтов, зависать над землей в па-баллонэ на несколько беско-

нечных мгновений, легко и твердо приземляться на носок напряженной вытянутой стопы, похожей на карандаш с остро отточенным грифелем, – для этого надо вкалывать тяжелей, чем шахтер в забое.

Когда Катя была еще совсем маленькой девочкой, с тонкими, по-балетному выворотными ногами, с длинной беззащитной шейкой, с огромными, ясными шоколадно-карими глазами, она уже знала: надо либо жить, либо танцевать. Балет – это постоянное, ежедневное насилие над собой.

Великого танцовщика Асафа Мессерера после минутной вариации в «Лебедином озере» обследовали медики и были в шоке: пульс, дыхание и все прочие показатели не укладывались ни в какую биологическую схему. Живой организм, по всем медицинским расчетам, должен был просто взорваться от перенапряжения. Но балетный организм не взрывается, а взлетает и парит над потной, грязной, беспощадной землей. Однако в самом изящном вдохновенном полете надо холодно и четко рассчитывать дыхание на каждое следующее движение танца.

Все, что не было балетом, проходило как бы чуть в стороне, если и трогало, то не слишком, если обижало, то не до слез. Иногда она влюблялась в своих партнеров, ровно настолько, насколько это было нужно, чтобы па-дэ-дэ наполнилось теплым светящимся воздухом влюбленности, но никогда не теряла голову, легко и быстро, как классические фуге, закручивались и таяли романы. Катя приземлялась на

вытянутый носок, твердо стояла на земле, ни разу не страдала всерьез, и, если кто-то начинал страдать из-за нее, ей не было дела.

В восемьдесят седьмом году часть выпускников Московского хореографического училища была приглашена во вновь созданный театр Русского классического балета. Двадцатилетней Кате Орловой предстояло танцевать ведущую партию в балете «Госпожа Терпсихора». Это было сложное, помпезное трехчасовое действо, полуконцерт, полуспектакль, музыку написал модный композитор-авангардист, хореографию поставил старый знаменитый балетмейстер, приверженец классических традиций. Костюмы и декорации разработали художники-постмодернисты. Предполагался очередной переворот в истории балета, а получилось всего лишь роскошное шоу, яркое зрелище – не более.

Этой премьерой открывался первый сезон новорожденного театра. Потом был банкет.

В двадцать лет Катя еще не устала от шумных «тусовочных» сборищ, ей нравились быстрые пустые разговоры, мелькающие улыбки, собственное отражение в зеркалах, в чужих восхищенных и завистливых глазах. Еще не было в душе ядовитой лихорадки уходящего времени. То, что балетный век короток, она знала лишь теоретически. Ей казалось, впереди – сплошное яркое, успешное сегодня, и всегда будет не больше двадцати.

В ту ночь, на банкете, на ней было строгое узкое платье из

темно-синего бархата, в ушах и на пальцах сверкали старинные прабабушкины бриллианты, длинные каштановые волосы стянуты тяжелым узлом на затылке, она самой себе ужасно нравилась, и это было важнее всего на свете, даже важнее станцованной только что премьеры и блестящей финальной импровизации, трижды повторенной на «бис», и огромных букетов, которыми была завалена гримуборная.

Ее поздравляли, целовали, с кем-то знакомили. Щелкали фотовспышки. В банкетном зале было столько знаменитостей, что рябило в глазах. Кто-то подлетал к Кате с диктофоном, с почтительными и ехидными вопросами от женского журнала, от новой демократической газетенки. Французское шампанское сладко обжигало губы, и что-то совсем новое, властное вдруг обожгло сердце.

Катя даже не поняла сразу, откуда взялось это странное головокружение, почему ноги вдруг сделались ватными, кожа под прохладным бархатом платья стала сначала горячей, потом ледяной, словно у Кати поднялась температура – не меньше сорока градусов.

«Грипп... воспаление легких... малярия... откуда малярия? Здесь не тропики. Я просто сошла с ума. Что происходит?» И только через миг она заметила упорный, немигающий взгляд из глубины зала. Заметила – и замолчала на полуслове, забыла о милых случайных собеседниках, с которыми только что весело обсуждала премьеру, кончиком языка скользнула по пересохшим губам, залпом допила шампан-

ское.

Банкетный зал со всем его блеском, звоном бокалов и приборов, с расслабленными и напряженными лицами, с красавицами, чудовищами, умниками и дураками, с тихой музыкой вспотевшего ресторанный оркестра, с пьяным смехом, пустыми разговорами, вспыхивающими здесь и там, как радужные мыльные пузыри, – все провалилось куда-то. Остался только этот чужой мужской светло-серый взгляд, который обволакивал Катю с ног до головы, приближался, плыл к ней сквозь толпу, заслоняя, отодвигая все остальное, и не было спасения...

– Я ничего не понимаю в балете, но вы гениально танцевали. Хотите еще шампанского?

Спокойная улыбка, очень низкий голос, серый, под цвет глаз, костюм, короткий ежик волос, почти седых, с едва намечающимися ранними залысинами. Он еще не представился, а уже взял под руку, повел куда-то в соседний зал, где распаренные пары отплясывали рок-н-ролл, и восторженувшийся оркестр оглушительно ударил в уши.

– Я не хочу шампанского, я не хочу танцевать, – беззвучно, одними губами произнесла Катя.

– И хорошо, давайте тихо исчезнем...

Его звали Баринов Егор Николаевич. Он был экономистом, доктором наук, заведовал огромным отделом в Институте экономики при Академии наук, печатал хлесткие умные статьи в «Московских новостях», «Огоньке» и «Новом ми-

ре». Тогда, в восемьдесят седьмом, ему было сорок три. Для политика это если не юность, то ранняя молодость. Имя Егора Баринаова знала вся Москва, за номерами журналов и газет выстраивались ночные очереди у киосков «Союзпечать». Он входил в команду молодых реформаторов при правительстве Горбачева.

Стояла пасмурная сентябрьская ночь. Баринов отпустил шофера, они шли пешком через бульвары – Тверской, Петровский, Гоголевский. Он что-то говорил, остроумно рассказывал о чем-то важном, злободневно-политическом, накинул Кате на плечи свой пиджак, как в плохом кино, и тут же мягко пошутил по этому поводу, обнял, прижал к себе, смеясь и продолжая говорить...

В темном одиноком такси они стали жадно целоваться, по ночному радиоканалу передавали «Болеро» Равеля, и потом в огромной пустой квартире, в теплой чужой тишине, все еще звучала в ушах эта случайная торжественно-нервная музыка...

Утром он целовал ее сонные, чуть припухшие глаза, варил бразильский кофе, который был дефицитом, экзотикой даже для Кати, выросшей на спецзаказах Союза кинематографистов. Поднос с тонкими старинными чашечками принес прямо в постель, улыбался, нежно гладил, перебирал длинные распущенные Катинины волосы и не давал опомниться.

На туалетном столике в спальне стояли баночки с крема-

ми и лосьонами, флаконы с духами, лежала массажная щетка, в которой запуталось несколько чужих светлых волосков.

– Да, жена... взрослый сын, моложе тебя всего на два года... у нее своя жизнь, она микробиолог, тоже доктор наук, разъезжает по миру, вот сейчас они с сыном в Вашингтоне. И вообще мы слишком разные люди, у нас все в прошлом. У меня теперь есть только ты, остальное не важно...

И Катя согласилась: действительно, не важно. Разве может быть что-то важнее шального, пьяного счастья, которое подхватило, закружило, наполнило новым смыслом каждую клеточку, каждую секунду не только жизни, но и танца? К Катиной идеально отточенной балетной технике прибавилось то, чего не было раньше.

Теперь ее героини – и Одетта из «Лебединого озера», и Маша из «Щелкунчика», и Жизель – все были полны такой любовью, что зал замирал, таял, а потом взрывался аплодисментами.

Егор Баринов стал разбираться в балете, сидел в первых рядах на спектаклях, в антракте шел к Кате в грим-уборную, целовал ее разгоряченное лицо, возвращался в зал, таинственно улыбающийся, перепачканный гримом. Когда падал занавес, он на глазах у всех выносил к ногам солистки огромные корзины цветов.

Катя заинтересовалась экономикой и политикой, стала, к удивлению родителей, читать «Московские новости» и «Огонек», слушать новые демократические радиоканалы,

смотреть телевизор. Она не пропускала ни одной статьи своего любимого Егорушки, злилась на его противников и оппонентов, которые казались ей коварными и бездарными.

Все свободное время они проводили вместе, играли в теннис, скакали по тихим подмосковным лесам на породистых жеребцах Истринского конного завода, в закрытых цековских пансионатах снимали номера «люкс» с сауной, иногда просто гуляли по Москве, забредали на маленькие вернисажи, в недоступные для простых смертных рестораны Дома кино, ЦДРИ, ЦДЛ, в гости к многочисленным знакомым.

Бывший комсомольский работник, экономист-демократ питался из старой доброй кормушки ЦК КПСС. Ему было все доступно и подвластно. Даже Катю, выросшую в элитарной киношной среде, поражал шальной размах сорокатрехлетнего сказочного принца.

– Ну конечно, малыш. Это же совсем другой уровень, – говорил Егор, раскладывая на тарелке ломтики копченого угря, мастерски счищая шершавую болотно-серую кожуру с невиданного плода киви, щелкая зажигалкой «Ронсон», закуривая настоящий английский «Данхилл».

К концу восемьдесят седьмого опустели полки магазинов, оскудели спецзаказы. В Москве постепенно исчезали чай, сахар, крупа. Росли безнадежные хвосты очередей. Тревожно и удивленно шуршали разговоры в очередях.

– А у нас вчера выкинули гречку в гастрономе, я простоял четыре часа, и не досталось...

– Знаете, раньше мы выходили из положения, покупали в аптеке заменитель сахара, для диабетиков. Вкус, конечно, не тот, химией отдает, но все-таки сладко. Однако теперь и сахарин исчез, много таких умных.

– А зачем сахарин? Что сладить? Сначала надо достать чай и кофе.

– Вы знаете, нас вчера пригласили в гости на сыр. Я понял, что совсем забыл вкус этого продукта.

– А сыр был какой? «Российский»? «Костромской»?

– Бог с вами, просто сыр, с дырочками...

Катя не стояла в очередях, почти не пользовалась общественным транспортом, но эти разговоры слышала в костюмерной театра, в гардеробе, просто на улице. Девочки из кордебалета носили штопаные колготки. Покупка приличных сапог становилась событием, равным по значимости свадьбе, похоронам, рождению ребенка.

Катин папа приносил из закрытого буфета Союза кинематографистов уже не икру и балык, а сливочное масло и болгарские сигареты, приносил и радовался, говорил «спасибо».

На Пушкинской площади собирались стихийные митинги, люди, привыкшие к долгому полусытому советскому молчанию, удивленно открывали голодные рты, слушали чужие безумные речи, кричали сами и свято верили, что эти речи, эти крики страшно важны и значимы для будущего России. Казалось, что вот сейчас прозвучит долгожданная правда, все ее услышат, поймут, станут добрыми и честными,

каждый выскажет свое драгоценное мнение, и настанет совсем другая жизнь. Сами собой на прилавках появятся рассыпчатая гречка, розовая «Докторская» колбаска, сыр, возможно, даже двух сортов.

Горбачев встречался с Рейганом. Вся Москва, оторвавшись от свежих страниц «Огонька» и «Нового мира», прихлебывая чай из аптечных травок, замирала у телеэкранов, ждала, о чем договорятся два президента двух великих держав. Каждое их слово приобретало эпохальный смысл, от слов скрипела земная ось, загорались счастливые звезды новых, жадных молодых говорунов, в том числе и доктора экономических наук Егора Барина, в которого была влюблена без памяти двадцатилетняя артистка балета Катенька Орлова...

Вспыхнула и погасла яркая осень, голый ледяной ноябрь отсвистел простудными ветрами, навалилась зима, потом пришел апрель, с ночными заморозками, с чистыми, сказочно-голубыми прогалинами в низком московском небе. Серебряная верба уступила место суховатой мелкой мимозе, потом появились фиалки, мятые нежные букетики в упругих листьях, туго перетянутые черными катушечными нитками.

Катя репетировала Джульетту, танцевала ведущие партии в лучших спектаклях, готовила «Шопениану» для концерта в честь Девятнадцатой партконференции.

Конференцию все ждали с суевренным ужасом, говорили,

что от нее зависит все, боялись голода и гражданской войны. Экономист Егор Баринов выступал по телевизору и слишком смело отвечал на острые вопросы корреспондента. На следующее утро передача обсуждалась по всей Москве, в том числе и в театре Русского классического балета. Старенькая костюмерша многозначительно косилась на Катю. Девочки из кордебалета задыхались жгучей завистью: мало того, что прима, у нее еще с самим Бариновым любовь...

Катя старалась не касаться вспухающих, горячих, как воспаленные железы, опасных театральных интриг. Это не всегда удавалось, она нервничала, но не слишком. Дипломатически умный Егорушка давал дельные советы, и все решалось легко.

Микробиолог Ксения Сергеевна Баринава вернулась из Вашингтона вместе с сыном, потом опять куда-то уехала. Катя этого даже не заметила. Семейная жизнь ее любимого Егорушки была где-то далеко, словно на другой планете.

Егор Баринов возглавил какую-то новорожденную партию, красиво говорил на митингах и с телеэкрана, наживал врагов, терял друзей, обрастал преданными соратниками.

В конце мая восемьдесят восьмого он улетал в Афины на международную конференцию и каким-то чудом умудрился за несколько дней до отлета сделать Кате греческую визу. Конференция продолжалась всего четыре дня, из Афин они на неделю отправились в небольшой курортный городок, знакомый сотрудник советского посольства помог им что-то

там организовать и оформить.

В крошечной гостинице по утрам пахло цветами и морем. Они плавали с аквалангами, ужинали в уютных рестораничках, ели жаренных на углях морских гадов, пили легкое кисловатое вино. Однажды отправились на экскурсию в горную деревню, на фольклорный праздник.

Под ослепительным небом у мрачных маленьких домов из грубого серого камня сидели старухи в черном, задумчиво улыбались, вязали крючками белоснежные кружевные скатерти. Баринов накупил Кате множество забавных ненужных сувениров, снимал ее на фоне серых камней и черных старух. Потом на открытой площадке перед немецкими и английскими туристами ансамбль в национальных костюмах отплясывал сиртаки.

Ритм танца нарастал медленно, исподволь, зрители сами не замечали, как заводились, шалели, начинали притопывать, хлопать в такт. Кто-то выскакивал на сцену, неуклюже вплетался в хоровод. Катя тоже не выдержала, проскользнула сквозь толпу, понеслась по сцене. Греческие танцоры расступились, замерли удивленно и восхищенно. Катя просолировала всего несколько минут, поклонилась, спрыгнула вниз. Ей долго аплодировали и зрители и артисты, ее пытались вернуть на сцену, но она растворилась в возбужденной толпе, пробралась к своему столику, уткнулась лицом в горячее сильное плечо Егора.

– Вернитесь, мисс, вы гениальная танцовщица! – обрати-

лась к ней с соседнего столика какая-то пожилая англичанка.

– Да, мы не видели ничего подобного! Кто вы? Из какой страны? – закивали два старичка, спутники английской леди.

– Я из России, – ответила Катя.

– О, Россия... Великий русский балет... Пожалуйста, станцуйте для нас еще. Здесь всем можно выходить на сцену, вернитесь, мы хотим снять вас на видео.

– Нет, – улыбнулась Катя, – я только зритель. Я приехала отдохнуть, а не танцевать.

Егор восхищенно поцеловал ее маленькое покрасневшее лицо и шепнул:

– Может, и правда вернешься на сцену, малыш?

Катя ничего не ответила, на сцену не вернулась, досматривала костюмированное пышное представление из зала, жадно прихлебывала ледяное белое вино, хлопала в ладоши.

Это был красивый, азартный, но чужой спектакль...

Потом на все лето Катя с театром уехала на гастроли, были София, Варшава, Прага, Берлин. Танцуя Джульетту на сцене берлинского театра «Комише-опер», она вдруг увидела в переполненном зале своего Егорушку. Он вырвался в Германию всего на два дня.

Незаметно пришла осень.

Они опять играли в теннис на закрытом корте в Лужниках, скакали по ярким опавшим листьям на гнедых жеребцах. Легко и весело пролетел сырой гриппозный ноябрь. Приближался самый любимый Катин праздник, Новый год.

Она с детства привыкла готовиться к нему заранее, продумывала, какое наденет платье, какие кому подарит подарки, а главное – с кем встретит.

Это очень важно. Одна таинственная ночь закладывает основу целого года жизни, огромного, бесконечного года. Катя верила, что в новогоднюю ночь будущее лежит на ладони живым теплым комочком, как новорожденный котенок, и если спугнешь его – неудачным нарядом, плохим настроением, чужими случайными людьми, то потом уже ничего не поправишь.

Тридцать первого декабря был утренний детский спектакль. Танцевали «Щелкунчика». В два часа дня Катя сняла грим, приняла душ в театре, переделалась, поздравила коллег с «наступающим» и отправилась домой. Продуманные, красивые подарки были готовы давно, еще с лета. Катя все заранее купила за границей, на гастролях. Московские магазины в восемьдесят восьмом были безнадежно пусты.

Перед долгой новогодней ночью она собиралась немного поспать, полежать в ванне с какой-нибудь маской на лице, вымыть и уложить волосы и вообще почистить перышки, чтобы стать по-новогоднему красивой.

Часов до девяти она посидит с родителями, а потом отправится на своем «жигуленке» к Егорушке. Он все приготовит и будет ждать ее у себя. Жена-биологиня опять укатила куда-то за границу, у сына своя компания, он не появится дома еще несколько дней. Они встретят Новый год вдвоем, только

вдвоем. Им никто другой не нужен, а завтра, отоспавшись, отправятся в гости к близкому другу Егора, пресс-аташе посольства Норвегии. Милейший, добродушный Хансен с седой бородкой и налитым пивом брюшком устраивает первого января маленькую интимную вечеринку. Только близкие друзья, самые близкие, легкая закуска, фрукты, много музыки и смеха...

Около семи вечера в гости к родителям пришли Калашниковы, дядя Костя, тетя Надя и Глеб. Взрослые собирались встретить Новый год вместе, дети отчаливали на ночь. Глеб уезжал на дачу в Переделкино, где его ждала шумная компания. Он заранее отправил туда нескольких своих девочек, чтобы все приготовили, накрыли стол.

В восемь позвонил Егор.

– У меня в отделе неожиданно решили устроить небольшой сабантуй, я хотел отвертеться, не получается. Ты, солнышко, приезжай не к десяти, а позже, к одиннадцати. Хорошо? А я постараюсь смотаться как можно раньше. Обнимаю тебя, счастье мое...

В половине девятого Глеб всех поздравил, подарил подарки и укатил на дачу. Катя сидела как на иголках. Без пятнадцати десять не выдержала, тоже стала поздравлять и дарить подарки, накинула шубу, выскочила в метель, стряхнула снег со своего голубого «жигуленка». В конце концов, она может заехать за Егором в институт, она знает, что такое вечеринка на кафедре. Время пробежит незаметно, он такой рассе-

янный, к тому же обязательно выпьет, а шофера отпустит. Вдруг не сумеет поймать такси?

В начале одиннадцатого она припарковала машину в переулке неподалеку от Арбатской площади, кутаясь в шубку, добежала до старинного здания академического института. Двери были распахнуты, окна сверкали, в актовом зале во круг высокой разряженной елки гремела костюмированная дискотека. Катя взлетела на четвертый этаж, даже не заметив, что там тишина и нет никакого сабантуя.

В приемной было пусто. По стенам висели гирлянды из розовой и голубой папиросной бумаги. Дверь в кабинет Барина была заперта. Катя отдышалась и подумала, что, наверное, сабантуй кончился, Егор уже уехал домой и ждет ее, накрывает стол в гостиной у елки.

И тут до нее донесся прерывистый хриплый стон, торопливый шепот, мягкий женский смех. Она перестала дышать. Вслед за смехом отчетливо прозвучал низкий, бархатный голос:

– Вот так, Светик, вот так, кисочка... А зачем нам колготки? И лифчик нам не нужен... мы все сейчас снимем...

Волна рока, докатившаяся снизу, из актового зала, заглушила остальные слова. Катя бросилась вон из приемной, добежала до лестницы, ей навстречу мчалась ведьма на помеле, с приклеенным пластмассовым носом, в съехавшем набок парике. Вслед за ведьмой приплясывали два маленьких чертика с картонными рожками, с проволочными хвостами.

Они схватили Катю за руки, закужили. «Хеппи Нью-Йор!» – хрипло выкрикнула ведьма ей в лицо и расхохоталась утробным басом. Катя закричала, ей показалось, они настоящие, бросилась назад в приемную, упала в кожаное кресло, закурила.

Там, в кабинете, не он, не Егор, там кто-то из сотрудников, просто голос похож. Кто-то развлекается со «Светиком» на мягком кожаном диване в кабинете начальника.

Катя знала, что к Егору Николаевичу ходит массажистка по имени Света, два раза в неделю. Прямо на работу. У него остеохондроз, массаж необходим. Кажется, именно сегодня она должна была прийти. Егор без массажа не человек, мучают боли в спине. Он сам говорил, что придет Света, мол, к Новому году он хочет быть бодрым, свежим, без всяких болей в позвоночнике. Еще он говорил, что Света здоровая, как пятиборец, и постоянно с ним кокетничает. У нее мощные руки, много белого сочного мяса и никаких мозгов. Пустые, как плоски, глаза. Катя никогда ее не видела, но Егор описывал очень красочно. Он ехидно посмеивался над шикарными телесами массажистки, над ее слишком короткой юбочкой, слишком низким декольте, над ее напрасными бабскими уловками и тщетными попытками соблазнить его, госпоина Барина, эстета, интеллектуала, ироничного, тонкого ценителя прекрасного.

Катя никогда ее не видела. Ну какое ей дело до массажистки?

Конечно, там, в кабинете, кто-то другой стягивает со страстной беломясой массажистки Светика колготки. Егор сейчас уже дома, ждет Катю. Надо позвонить ему.

Она сняла трубку, стала набирать номер, который знала наизусть. В кабинете стоял параллельный аппарат, он громко зазвякал, и через секунду щелкнул дверной замок.

Красный, потный Баринов, в носках, в расстегнутой рубашке, с болтающимся на шее развязанным галстуком, нащупывал бестолковыми дрожащими пальцами «молнию» ширинки. Глаза его часто моргали, бегали, старались не смотреть на Катю. А сзади, в полумраке кабинета, металось что-то большое, голое, белое.

Катя бросила на пластик секретарского стола протяжно гудящую телефонную трубку, не спеша загасила сигарету в чистой пепельнице, ни слова не говоря, спокойно вышла из приемной.

Метель все мела. Прежде чем сесть в машину, она достала веник из багажника, стряхнула крупные легкие снежинки с ветрового стекла. Куда теперь? Домой? В тихий, чинный взрослый праздник? К маминым вздохам и понимающим, сочувственным взглядам тети Нади? К нарочито бодрым голосам папы и дяди Кости? («Ну что, ночная гулена? Давай теперь с нами веселись... Тетя Надя испекла потрясающий торт, один раз в году можно, от одного кусочка не поправишься, побалууй себя в новогоднюю ночь. По телевизору очень смешной концерт...»)

Нет, только не домой! Без десяти одиннадцать, до Нового года семьдесят минут. Катя завела мотор, помчалась сквозь крупный пушистый снег по расцвеченному огнями Калининскому проспекту. Она не плакала. Еще не хватало плакать за рулем в такую метель! Она поняла, куда едет, только у Кольцевой дороги.

В Переделкине «жигуленок» застрял в сугробе. Катя, вся в снегу, румяная, со сверкающими огромными глазами, влетела в ярко освещенную теплую гостиную калашниковской дачи.

– Катюха! Радость моя! – Пьяненький, разгоряченный Глеб закружил ее, расцеловал и совсем не удивился, не задал ни единого вопроса.

Было много народу, стол ломился от вкусной еды, девочки смеялись, кто-то отправился вытаскивать из сугроба Катину машину. Глеб Калашников стянул с ее ног промокшие, полные снега сапоги. Он знал, как важно держать в тепле драгоценные узенькие ступни прима-балерины, и стал растирать их ладонями, согревать своим дыханием, потом принес огромные отцовские валенки.

– С ума сошли! – закричал кто-то. – Без пяти двенадцать!

В экране телевизора лицо Горбачева сменилось башней с курантами. Бабахнуло шампанское. Все стали чокаяться, Глеб поцеловал Катю в губы. Наступил семьдесят девятый год. Все побежали во двор хлопать хлопушками, кричать «ура». В сонном полупустом поселке отчаянно лаяли собаки.

Наоравшись, набегавшись по глубокому снегу, усыпав сад и окрестные улицы разноцветным хлопучечным конфетти, вернулись в дом, погасили свет, зажгли свечи. Катя так и не поняла, сколько же здесь народу. Мелькали знакомые и незнакомые лица. Под лирическую композицию Фредди Меркьюри медленно качались пары. Катя обнаружила, что танцует с Глебом в огромных валенках, в шелковом вечернем платье. Его губы щекотно шептали ей на ухо что-то смешное и ласковое, его руки, такие знакомые, теплые, прикасались к ней бережно, держали надежно, согревали и заставляли забыть обо всем плохом, холодном, грязном. Ничего страшного не произошло. Ничего страшного...

Пары стали постепенно разбредаться по огромному трехэтажному дому. На калашниковской даче было газовое отопление, дом прогревался весь целиком, всем хватило места, чтобы уединиться. Какая-то очередная девочка ушла плакать по Глебу на заснеженное крыльцо, но кто-то одинокий и великодушный бросился ее согревать, утирать горькие слезы.

Катя и Глеб заметили, что стоят одни, уже не в гостиной, а в маленькой спальне родителей Глеба, давно нет никакой музыки, они стоят, обнявшись, прижавшись друг к другу, и за окном падает медленный, крупный снег. Они не успели опомниться, как уже целовались, и ловкие пальцы Глеба вытаскивали шпильки из Катиных волос, расстегивали «молнию» шелкового платья, и мягкие губы жарко скользили по

длинной Катиной шее, по тонким ключицам.

Платье упало на пол, в другой конец комнаты полетели джинсы, свитер и все прочее. Высокие валенки народного артиста Константина Калашникова застыли, как солдаты на посту, у старой потертой тахты.

Когда Катя открыла глаза, за окном был солнечный морозный день. Кто-то из гостей уже уехал, кто-то отправился гулять. В доме стояла тишина. Катя хотела встать, умыться, сварить кофе, но Глеб притянул ее к себе, и все повторилось, уже без лихорадочной ночной спешки, без страха и сомнений.

– Какие мы с тобой были глупые, – прошептал Глеб, – хорошо, что не успели состариться...

...Сейчас, восемь лет спустя, сидя в зыбком рассветном свете в чистой холодной кухне, Катя поймала себя на том, что ту первую их ночь, тот Новый год, она помнит отчетливей, чем все последующие годы сложной семейной жизни. И пусть все грязное, ужасное, что было потом между ними, исчезнет, забудется.

Катя встала, накинула поверх халата огромную вязаную шаль. Глеба больше нет и не будет никогда. Вот его любимая чашка, он привез ее из Англии, с Беккер-стрит, пил чай только из нее. В прихожей, в зеркальном шкафу, висят его вещи. Жанночка недавно убрала все летнее на антресоли, достала плащи, куртки, осенние ботинки... А подушка в спальне хранит его запах, и короткие жесткие волоски остались

в сетке электробритвы. Господи, сколько всяких теплых мелочей, сколько обыденной ерунды остается после человека, и все это согревает, заставляет больно сжиматься сердце – если, конечно, человека любили, если простили ему плохое и помнят только хорошее.

Катя вдруг подумала, что прощать и любить мертвого куда легче, чем живого.

Глава 3

Ляля Рыкова тихонько выскользнула из-под одеяла, поживаясь от утреннего холода, прошлепала босиком в ванную. Мало того, что этот Князек-браток храпит, он еще и окна распахивает на всю ночь. Свежий воздух ему подавай для здорового сна. А уже сентябрь, и к утру комната так выстужается, что у бедной Лялечки зубы стучат.

Князь Нодарик причмокивал во сне и издавал жалобные, хриплые рулады. Княжеский громкий храп был слышен даже в ванной, перекрывал звук бьющей из крана горячей воды. Ляля брезгливо поморщилась, заперла дверь на задвижку, потянулась перед огромным, от пола до потолка зеркалом, которое стало уже слегка запотевать от пара. Сквозь тонкую дымку Ляля выглядела еще красивей, еще соблазнительней.

Возбуждает не откровенность, не голая правда, а загадка, нежный флер. Настоящий стриптиз отличается от порнухи именно загадкой и флером. Но кому это объяснишь? Грубым жадным мужикам, которые пускают слюни, глядя на вкусное Лялечкино тело? Да что они понимают? Им за их деньги надо все, прямо сейчас, в полном объеме. Что им тонкая, изысканная красота древней, как мир, эротической игры? Двигай бедрами, трясись бюстом, голову запрокидывай, изображая грубый кайф, – и порядок, все довольны, готовы платить, карманы готовы вывернуть.

Ляля залезла в горячую ванну с пеной и тяжело вздохнула. Жизнь устроена несправедливо. Кругом столько пошлости! Ну почему она, Лялечка, с ее красотой, с ее тонкой возвышенной душой, каждый вечер должна раздеваться перед грубыми братками? Чем она хуже всяких там мисс, супермоделей и кинозвезд? Да ничем. И ноги у нее длинней, и талия тоньше, и форма груди совершенней. А уж о лице и говорить нечего. Все эти супермодели, если приглядеться внимательно, рядом с Лялечкой просто кикиморы болотные, крокодилы. Однако сейчас время пошлости, никто не ценит настоящую красоту.

Она любила представлять себя на балу, в платье от Диора, и чтобы вокруг миллиардеры, дипломаты, президенты, голливудские актеры и прочие знаменитости. Лялечка идет мимо с хрустальным бокалом на тонкой ножке в одной руке, с длинной сигаретой – в другой. Корпус чуть изогнут, плечи отведены назад, подбородок вверх, нога вперед от бедра, на нежной шее – старинное бриллиантовое кольцо в платиновой оправе. Она ни на кого не смотрит, думает о своем, о возвышенном, а все вокруг бледнеют и падают, сраженные любовью.

Или вот хорошо бы белую яхту с цветными огоньками, с черными молчаливыми лакеями в ливреях. Яхта причаливает к острову, на острове – вилла. Нет, почему вилла? Замок – старинный, родовой, с каминами и портретной галереей мрачных царственных предков.

Ох, все это было бы Лялечке так к лицу, и замок, и яхта, и бал со знаменитостями. Всякие звезды, фотомодели – просто наглые самозванки. Они пользуются незаслуженно тем, что по праву должно принадлежать ей, скромной стриптизерке Лялечке Рыковой, самой красивой женщине в мире.

Нет, не для того родилась Ляля на свет, такая совершенная, изысканная, нежная, чтобы раздеваться каждую ночь перед поддатými мужиками. Однако ничего другого она не умеет. А стриптиз танцует отлично. И платят ей неплохо, и мальчики из охраны зорко следят, чтобы руками Лялю просто так, бесплатно и несанкционированно, никто не трогал.

Однако мечты мечтами, а жить на что-то надо. Нельзя витать в облаках. Ночной клуб, конечно, не самое лучшее место, но и не худшее. Если хозяин и подкладывает ее иногда под нужных людей, так тоже ведь не бесплатно. И не как простую подстилку, а обязательно с каким-нибудь хитрым заданием. Ляле это нравится. Она чувствует себя не только красивой, но и умной.

С Князем Нодариком ей пришлось повозиться. Он готов был с самого начала жизнь за нее отдать, демонстрировал восточный княжеский размах, в ногах валялся, песни пел старинные грузинские под гитару, но деньги при этом считал очень аккуратно.

Калашников сразу предупредил: одной любовью Князя за жабры не удержишь. Крючок должен быть надежный, денежный. И Ляля справилась, раскрутила Нодарика на «блэк

джек», хотя он поначалу от зеленого сукна шархался как от чумы. Рассказывал, что прадедушка, грузинский князь, офицер, проиграл казенные деньги и застрелился. А в предсмертной записке завещал всем своим благородным потомкам не прикасаться к картам. Кто прикоснется, тот сразу будет проклят.

Ляля выключила воду и услышала, что Князь проснулся. Он уже не храпел, разговаривал с кем-то. Сначала Ляля решила, что по телефону. Слов она разобрать не могла, но интонация и голос Нодарика ей не понравились. Что-то случилось. Князь говорил быстро, возбужденно, с сильным акцентом. Она давно заметила: грузинский акцент у него появлялся в минуты волнения и страха. Потом раздался тихий грохот и короткий сдавленный стон. Лялю как током шархнуло. Нодарик был не один в квартире.

– Нэ-эт! – вопил он. – Нычэго нэ знаю! В натурэ, мужикы, ничэго!

В спальне происходила крутая разборка. Совсем крутая. Ляля поняла это не только по грохоту, стону и ужасу, который дрожал в осипшем голосе Князя, но и по вкрадчивым, совсем тихим голосам незваных гостей. Кто они? Сколько их? Чего хотят? Лялю от них отделяла всего лишь тонкая дверь ванной комнаты, пока что запертая на задвижку, но в любую минуту ее вышибут ногой. Может, это люди Лунька? Однако с чего бы Лунек прислал своих быков к Ляле домой ранним утром? Князь и так прочно сидит на крючке... А ес-

ли это Голубь? Он ведь запросто мог узнать, что его человека подсадили на крючок с Лялиной помощью.

Ляля нервно вбивала кончиками пальцев нежный крем в распаренную кожу. Пальцы дрожали. Если это люди Голубя, тогда плохо. Хуже некуда. И что теперь делать?

Она едва успела закутаться в белый махровый халат, туго затянуть поясок, а по двери уже кто-то шарахнул ногой. Задвижка отлетела. Ляля вздохнула с облегчением. На пороге ванной стоял Митяй, один из боевиков Валеры Лунька.

– Привет, – сказала Ляля, – что за базар в моей квартире? И зачем дверь ломать? Постучать нельзя?

Митяй ничего не ответил. Ляля, надменно вскинув подбородок, прошла в спальню. Голый Нодарик валялся на полу. В кресле сидел сам Лунек. Его жесткие, холодные, прищуренные глаза смотрели прямо на Лялю. Тонкие губы были неприятно поджаты.

– Здравствуй, Валерочка. – Ляля попыталась улыбнуться. – Что случилось?

– Где этот козел был ночью? – тихо спросил Лунек, продолжая сверлить Лялю колючими прищуренными глазами.

Глаза у него были какого-то неопределенного цвета, то ли серые, то ли желтые.

– Как где? У меня. – Ляля уселась в кресло напротив Лунька. – Слушай, ты, может, объяснишь, в чем дело?

– Ты точно знаешь, что он всю ночь был с тобой?

Нодар что-то невнятное простонал с пола. Ляля не поня-

ла, когда они успели его так отделать. Спасибо, крови нет, ковер в спальне дорогой, светлый, потом никакими чистящими средствами пятна не выведешь. Но Митяй поработал аккуратно, бил по внутренним органам. Один-два удара, никаких следов, даже синяков не видно, а человек уже лежит скрюченный, готовый на все.

– Ну, я, конечно, не стерегла его, – пожала плечами Ляля, – я спала.

– Крепко?

– Будто не знаешь, что я сплю как сурок? – усмехнулась Ляля и сверкнула на Лунька своими синими ясными глазами.

Полгода назад у них с Луньком была короткая любовь. Из всех девочек в клубе Валера выбрал ее одну, и не просто для забавы, а потому, что понравилась она ему всерьез. Больше ни на кого не глядел. Он вообще отличался от прочей блатной братии благородством и строгостью. А главное, было в нем нечто мужское, рыцарское. Его, например, волновало, нравится он Ляле как мужик или она так, по долгу службы... Он сказал ей прямым текстом: если ты против, так я не настаиваю и не обижусь. Ляля знала: это не пустые слова, и была Валере Луньку искренне признательна. Даже и не притворялась с ним, не играла в любовь, а почти любила. Еще немного, и осталась бы с ним надолго, бросила свой клуб, была бы ему верна, ему одному... Он, правда, так и не предложил. Но она была готова...

– Хозяина твоего сегодня ночью замочили, – сообщил Лунек и закурил.

Ляля не выносила табачного дыма по утрам, на голодный желудок.

– Как? – спросила она хрипло, поперхнувшись кашлем. – Кто?

– Значит, спала, говоришь... А вот если бы он, козел-лаврушник, смылся из-под твоего одеяла куда-нибудь на пару часов, ты бы заметила?

– Валер, ты думаешь, он? – испуганно прошептала Ляля и покосилась на скорченного, постанывающего Князька. – Да брось, – она покачала головой, – зачем ему?

Валера не счел нужным отвечать, только усмехнулся.

– Глэб минэ прастыл... в натурэ... – простонал с ковра голый Князь, – нэ такие бабки, чтобы я стал пачкаться.

Ляля заметила, что Нодар постепенно приходит в себя. Он уже очухался от страха и боли, он понял, что надо сообщать, а не стонать.

– Валер, добавить ему, что ли? – вяло предложил молчавший все это время Митяй.

– Не надо, – покачал головой Лунек, – пусть встанет и портки наденет. Не такие бабки, говоришь? – Он наблюдал, как голый Князь тяжело поднимается с ковра. – Так чего же не заплатил? Проиграл – надо платить. Разве не знаешь?

– Я бы заплатил, – Нодарик натягивал джинсы на голое тело, никак не мог попасть ногой в штанину, – я и собирал-

ся, я ж знаю, это запаadlo... но не сразу. Мы с Глебом были друганы. Он знал, что я отдам, не стал счетчик включать.

Ляля загрустила. Кому теперь достанется казино? Конечно, она без работы не останется, однако ей не все равно, где танцевать стриптиз. Публика далеко не везде одинаковая, и охрана, и деньги... Ляля вдруг подумала, что, если б знала, кто замочил хозяина, сама бы, своими руками могла прикончить гада. Не потому, что Глеб Калашников был ей так дорог. Просто с его гибелью в Лялиной жизни, пусть далекой от радужной мечты, но стабильной, вполне терпимой, многое менялось. Не в лучшую сторону. Наверняка не в лучшую... А может, и правда Князь не выдержал, испугался, денег пожалел? Ведь все равно придется отдать. Пусть позже, но придется, иначе клеймо на всю оставшуюся жизнь.

Сам-то он, конечно, не мочил. Она хоть и спала крепко, но, если бы он ушел, наверняка услышала бы. А вот заказать мог вполне. Надо как-то Валере намекнуть. Если это работа Князя, то он вряд ли на одном только Калашникове успокоится. Он ведь отлично понимает, что Ляля сознательно раскрутила его на игру. Пока пылала страсть – не понимал, туманил голову горячий любовный угар. А сейчас быстренько опомнится, все по полочкам разложит. И на его княжеское великодушие лучше не рассчитывать.

Валера между тем насмешливо глядел на Князя, который попал наконец ногой в штанину и стоял перед ним в джинсах, выпятив голую, поросшую черной шерстью грудь и дер-

жа руки по швам, как солдат перед генералом.

– Ну вот, – произнес он мягко, как бы даже сочувственно, – а теперь и не надо отдавать. Теперь ты вроде как никому не должен. Нет Калашникова, и ты чист. Правильно?

Лунек прекрасно знал, что неправильно. Он рассуждал по самой примитивной, полуидиотической схеме, и делал это вполне сознательно. Он брал Князя «на понт», старался быстро, пока не остыл первый испуг, напугать еще больше.

Когда он ехал сюда, он уже был уверен, что не Нодар замочил Глеба Калашникова. Кто угодно, только не он. Однако запуганный, запутавшийся вконец Князек мог стать в его руках сильным козырем. Теперь, когда к пятидесятитысячному долгу прибавилось еще и вполне обоснованное подозрение в убийстве, Князька можно раскрутить на полную катушку, вытащить из него все, что он знает о своем поганом хозяине, о злейшем враге Валеры Лунька, молодом лаврушнике Голубе.

– Даже если ты не сам это сделал, ты мог запросто Глеба заказать. Ну подумай, кому, кроме тебя, это надо было? – спокойно рассуждал Лунек.

– Мало ли кому? Я не заказывал и сам не мочил. Сукой буду...

– Сукой будешь, это точно, – усмехнулся Валера, – это я тебе гарантирую. Кто, кроме тебя, работал в казино на Голубя?

Он спросил это быстро, равнодушно, как бы между про-

чим.

– Если я тебе скажу, меня Голубь из-под земли достанет, – тихо, без всякого акцента произнес Нодар.

Ляля насторожилась. Она почувствовала, что Князь больше не волнуется. Он сосредоточился, сжался, словно стальная пружина. От того, как он сейчас поступит, зависит, останется он в живых или нет. Возможно, в голове у него уже созрел какой-нибудь план. Интересно, какой?

– А если не скажешь, я тебя сейчас кончу. Здесь и сейчас, – пообещал Лунек.

– Пусть она выйдет. – Князь покосился на Лялю. – Она выйдет, я скажу.

– Свари-ка нам, Лялька, кофейку. Я еще не завтракал, – ласково попросил Лунек.

Ляля отправилась на кухню. Ей не понравился взгляд, которым проводил ее Нодар. Очень не понравился. Даже в желудке стало холодно.

* * *

– Оля! Ты разве не слышишь меня? Я уже второй час кричу. Я что, в пустыне?

– Нет, бабушка, ты не в пустыне. Что случилось?

Всего двадцать минут назад она покормила бабушку ужином. На кухне был беспорядок, Оля хотела сначала прибраться, но Иветта Тихоновна кричала, что умирает от голода и нече-

го там возиться с посудой. Оле пришлось унести с письменного стола свою пишущую машинку, сдвинуть в сторону книги и тетради с конспектами, покормить бабушку в комнате. Гречневая каша, две большие котлеты, три бутерброда – хлеб, масло, вареная колбаса, – все исчезло за десять минут. Бабушка ела жадно, быстро, неопрятно, крошки падали на письменный стол, масло таяло на подбородке. Оля стояла и смотрела, иногда вытирала ей лицо салфеткой.

– Почему у тебя дрожат руки? – спросила Иветта Тихоновна.

– Ничего не дрожат. Все нормально, – ответила Оля, комкая салфетку.

– А что у тебя с лицом? У тебя такое лицо, будто ты чем-то недовольна.

– Я всем довольна. У меня нормальное лицо. Просто устала.

– Устала? А почему ты так поздно вернулась? Где ты была?

– В университете, потом на работе.

– Но ты пришла в половине второго ночи, занятия кончатся в четыре, работа у тебя с шести до одиннадцати. Где ты была?

– Гуляла, – пробормотала Оля, собирая со своего письменного стола грязную посуду.

– С кем ты гуляла? – Иветта Тихоновна шумно пила чай с молоком, хрустела вафлями.

Оля не заметила, как исчезла целая пачка дешевых вафель, осталась только блестящая обертка со сладкими крошками. А она-то рассчитывала, что хватит хотя бы на два дня.

– Одна. Я гуляла одна.

– Врешь. Скажи, почему ты мне все время врешь?

Оля ничего не ответила, убрала со стола грязную посуду, протерла прозрачный пластик влажной тряпкой, водрузила на место свою пишущую машинку, аккуратной стопкой сложила тетради с конспектами.

После ужина она усадила Иветту Тихоновну в ванну с теплой водой, тщательно вымыла, как маленького ребенка. Бабушка при этом стонала, охала, кряхтела, словно мытье для нее было сущим мучением. Оля знала, что эту простую процедуру Иветта Тихоновна может выполнить сама. Сил и ловкости у нее достаточно. Она не упадет в скользкой ванне. Однако вот уже второй год она играет в беспомощную, почти парализованную старушку.

– Я упаду и сломаю шейку бедра. Большинство людей моего возраста умирает от перелома шейки бедра. Разве так сложно помочь мне вымыться?

Сейчас, когда все вечерние процедуры позади и можно наконец побыть в тишине, не отвечать на вопросы, не выслушивать замечания, бабушка опять кричит и требует чего-то.

– Если я не нужна единственной внучке, которой отдала всю жизнь, какая разница, что случилось? Что это на тебе за кофточка? Ты купила себе новую кофточку? На какие день-

ги? Ты говоришь, не хватает на фруктовый сок, который мне необходим по состоянию здоровья, а я постоянно вижу на тебе новые вещи.

На Оле была старая фланелевая ковбойка, застиранная до неопределенного серо-желтого цвета. Эту ковбойку она носила дома года три.

– Бабушка, уже поздно. Я хочу спать. Пожалуйста, скажи, что нужно, и отпусти меня.

– Ничего. – Иветта Тихоновна отвернулась к стене. – Мне ничего от тебя не нужно.

– Хорошо, – кивнула Оля, – тогда я пошла спать.

– Конечно, ты пошла спать. А мне лучше умереть. Тебе ведь трудно принести мне стакан воды. Я хочу пить, а моей единственной внучке трудно принести мне стакан воды.

Оля, не сказав ни слова, вышла на кухню, вернулась с водой.

Иветта Тихоновна приподнялась на горе подушек и, взяв стакан, стала внимательно рассматривать на свет.

– Что это? – спросила она наконец, и в ее голосе послышались истерические нотки.

– Вода.

– Кипяченая?

– Конечно.

– А что ты туда добавила?

– Бабушка, я ничего туда не добавляла. Это чистая кипяченая вода из чайника.

Оля взяла у нее стакан и отхлебнула.

– А чаю тебе трудно было сделать? Сладкого чаю. Или ты решила перевести меня на хлеб и воду, чтобы скорее от меня избавиться?

– Если ты хочешь чаю, я сейчас сделаю.

– Нет, Оля. Я больше ничего не хочу. Иди.

Иветта Тихоновна выразительно поджала тонкие губы и опять отвернулась к стене. Оля поставила стакан на тумбочку у кровати и вышла из комнаты.

В маленькой кухне был чудовищный беспорядок. Облупленная раковина доверху наполнена грязной посудой, дражный линолеум в черных, несмывающихся разводах, крошечный стол, покрытый пожелтевшим, потрескавшимся пластиком, завален газетами, тут же – мятый алюминиевый ковшик с жирными остатками супа, сковородка со следами пригоревшей яичницы. Такое впечатление, что бабушка весь день, пока нет Оли, ест и читает газеты. Однако всегда встречает внучку словами:

– Где ты была? Я чуть не умерла с голоду. С утра ни крошки во рту.

Психиатр сказала, что для старческого слабоумия характерна неумная жадность в еде. Потакать этому нельзя. Бабушку надо постоянно сдерживать, одергивать.

– Не распускайте ее. При такой запущенной форме истерической психопатии в сочетании с dementia senilis ваша бабушка очень скоро превратится в чудовище; не только измо-

тает вам нервы, но и станет реально опасна.

Легко сказать – не распускайте. Стоило Оле немного повысить голос, возразить или хотя бы задержаться на несколько минут в кухне, не прибежать по первому зову, бабушка начинала кричать и метаться, как загнанный зверь, иногда выскакивала во двор в тапках и халате.

– Моя внучка сживает меня со свету! Не кормит, издевается! – Громовой голос Иветты Тихоновны звучал на весь двор.

Завсегдатаи двора, такие же «обиженные» старухи, получали хороший заряд бодрости, с удовольствием проклинали всех неблагодарных внучек, дочек, сыновей, невесток, зятьев скопом и Олю Гуськову в частности. Потом какая-нибудь доброхотка звонила в дверь.

– Я вот тут вашей бабушке хлеба принесла. Вы ведь ее совсем не кормите, бедненькую.

Обычно Оля выставляла вон доброхотку с ее хлебушком, но иногда на это не было сил. Она молча уходила на кухню и сидела там, пока Иветта Тихоновна громко рассказывала гостье про все ужасы своей жизни со зверюгой-внучкой.

Сил у Оли вообще оставалось все меньше. А бабушка чем хуже соображала, тем крепче и энергичнее становилась.

Принимаясь за гору посуды, Оля с досадой обнаружила, что жидкое моющее средство кончилось, придется обойтись вонючим склизким куском хозяйственного мыла. Она машинально намыливала старые, потресканные тарелки, чашки с

отбитыми ручками, щербатые вилки и старалась ни о чем не думать.

Через час кухня стала сравнительно чистой, настолько, насколько может быть чистым помещением, в котором пятнадцать лет не делали ремонт. Оля отодвинула стол к плите, достала из стенного шкафа в коридоре раскладушку, свернутый матрас, постельное белье. Вот уже два года она спала на кухне. В квартире была всего одна комната. Как ни перегородившей книжным шкафом, а все равно бабушкино безумие дышит в лицо, не дает уснуть. Иветта Тихоновна кричит во сне, стонет, иногда громко храпит. Через стенку не так слышно.

Покончив с уборкой, Оля села на раскладушку и долго сидела, уставившись перед собой в одну точку. Потом спохватилась, едва держась на ногах, поплелась в ванную. Из зеркала над раковиной взглянули на нее огромные глаза глубокого сине-лилового цвета.

– Это не я... – прошептала Оля и отвернулась от своего отражения.

Девушка в зеркале была красивой, как принцесса из детской книжки. Именно таких принцесс изображают художники на цветных иллюстрациях к дорогим подарочным изданиям.

Черные длинные ресницы, черные брови, вскинутые удивленно и надменно, точеный прямой нос, яркий крупный рот, длинная гордая шея. Никакой косметики, кожа светит-

ся сама по себе, тонкая, прозрачная, идеально чистая, умытая с утра холодной водой. Ни пудры, ни губной помады. Все свое, живое, натуральное. Щелкнув дешевенькой заколкой, Оля распустила длинные светло-русые волосы, здоровые и блестящие, хотя она мыла их самыми простыми, дешевыми шампунями, а иногда, когда совсем не было денег, пользовалась детским мылом и ополаскивала водой с уксусом.

Такую красоту не испортишь застиранной до ветхости одеждой, вечной усталостью, хроническим недосыпанием и недоеданием, нищетой, издерганными нервами. Только старость, пожалуй, истребит этот ненужный напрасный дар природы, который Оле Гуськовой ничего, кроме беды, пока не принес. Но до старости далеко, ей всего лишь двадцать три года.

Оля скинула линялую ковбойку, вылезла из потертых до белизны джинсов, встала под горячий душ и зажмурилась. Сквозь шум воды она явственно услышала высокий мужской голос:

– Ты не понимаешь, мне это ничего не стоит. Ну примерь хотя бы платье. Я ведь покупал на глазок. И туфли. Ты посмотри на себя в зеркало, Оля, это бред какой-то, ни одна нормальная женщина в наше время так не одевается. А с твоей внешностью это просто грех. Ты ведь любишь рассуждать о грехе. Ты все равно, конечно, самая красивая, но я не могу идти с тобой в кабак, когда на тебе такие чудовищные тряпки.

– Не надо в кабак, давай останемся здесь, вдвоем... – В памяти всплывал собственный голос, но казался далеким и совсем чужим.

– Хорошо, давай останемся...

– Ты эти вещи отдай жене. Мне ничего не нужно.

– Во-первых, у нее все есть, во-вторых, она тебя худей и ниже на полголовы. И нога меньше на два размера. К тому же она все покупает себе сама и очень удивится, если я принесу... Оленька, солнышко, почему ты меня так обижаешь? Я старался, покупал, а ты даже примерить не хочешь.

– Мне не нужны шмотки. Мне нужен ты... Я люблю тебя больше жизни...

Под горячей водой Оля мерзла, сердце бухало, словно церковный колокол. Надо помолиться, надо к исповеди пойти. Однако при мысли об исповеди она почувствовала давящую боль в груди. Господи, какой грех, какой черный, мерзкий, смертный грех.

Оля вышла из душа, закуталась в халат, такой же ветхий, как все в этой маленькой нищей ненавистной квартирке, даже не взглянула на себя в зеркало, не расчесала волосы.

«О, горе мне, грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне; даждь ми, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько...»

Слова молитвы застревали в горле, Оля не чувствовала в них никакого смысла, просто повторяла, как выученное наизусть стихотворение. Неужели даже молиться она теперь не

сумеет? Нет покаяния, и прощения не будет. Даже слез нет – ни слезинки.

...Оля Гуськова за всю свою жизнь плакала только дважды. Первый раз, когда узнала, что погибли мама с папой. Второй – когда умная, усталая пожилая женщина, профессор психиатрии, сообщила ей, что бабушка сошла с ума.

Оля почти не знала своих родителей. Папа, кадровый офицер, пограничник, кочевал по гарнизонам. Мама, военный врач, кочевала вместе с ним. То пустыня, то тайга, ужасный климат, неустроенный быт гарнизонных городков – зачем это маленькому ребенку? Оля родилась на Дальнем Востоке. Когда ей исполнился год, ее привезли в Москву и отдали бабушке Иве, Иветте Тихоновне, маминой маме.

Бабушка была нестарой, всего пятьдесят пять, энергичной, суровой, но маленькую Олю очень любила. Работала она инспектором районного отдела народного образования. Оля с раннего детства привыкла видеть бабушку Иву в строгом синем костюме-джерси, отделанном черной бейкой, в белой блузке с отложным воротничком. Никакой косметики, никаких украшений. Простая короткая стрижка, туфли-лодочки без каблука.

Родители приезжали в отпуск не чаще одного раза в год. Тихая двухкомнатная квартира оживала, наполнялась музыкой, смехом, подарками, гостями.

– Ну а с кем ты дружишь в детском садике? – спрашивала мама, прижимая Олину светло-русую головку к груди, целуя

тонкое, ангельски прекрасное личико, огромные темно-синие глаза.

– Я дружу со всеми девочками и мальчиками, – отвечал ребенок.

– Но кто твой самый лучший друг? Или подружка?

– Мой самый лучший друг – бабушка Ива и дедушка Ленин.

– Какую ты хочешь куклу? – спрашивал папа у прилавка в Доме игрушки.

– Я в куклы не играю. Они бесполезные. Я играю только в полезные игрушки.

– Какие же, Оленька?.. – удивлялся капитан Гуськов.

– Лото с буквами, конструктор, еще диафильмы про животных. Они развивают. А куклы не развивают.

Папа покупал коробки с лото, пленки с диафильмами.

– Оленька, ты хочешь мороженого?

– Мороженое есть вредно. От него болит горло.

– Ну один раз можно, сейчас ведь тепло, – уговаривал капитан Гуськов свою пятилетнюю дочь в Парке культуры.

Она не возражала, осторожно, крошечными кусочками откусывала твердый пломбир, тщательно растапливала во рту, прежде чем проглотить.

– Ну, вкусно тебе? – спрашивала мама.

– Спасибо, очень вкусно, – кивала девочка без всякой улыбки.

На каруселях, в комнате смеха, где все отражались в кри-

вых зеркалах и взрослые хохотали до упаду, ребенок оставался серьезным.

– А чего вы хотите? – пожимала плечами бабушка Ива вечером на кухне, когда капитан нервно расхаживал из угла в угол, а его жена курила у открытого окна и старалась не смотреть на мать. – У ребенка режим, ребенок развивается правильно, без баловства и всяких глупостей. Она уже умеет читать по слогам, знает сложение, вычитание, не кланчит сладости и игрушки. В коллективе у нее со всеми ровные товарищеские отношения, воспитатели ею довольны, никаких конфликтов, никаких болезней и простуд. Что вам еще надо? Если вас не устраивает, как я воспитываю ребенка, – пожалуйста, забирайте, таскайте по своим казармам и баракам.

Родители кипели, но быстро остывали. Увозить ребенка из Москвы, из теплого чистого дома неразумно. Через два года в школу. И вообще у Иветты Тихоновны педагогическое образование, а они... какие они педагоги? Даже если ребенок будет жить с ними в гарнизоне, все равно не останется времени на воспитание. Оба заняты по горло.

Мысль о том, чтобы поселиться в Москве, оставить мужа одного, видеть его только раз в году и быть рядом с дочерью, воспитывать ее по-своему, Олиной маме в голову не приходила.

В семьдесят девятом грянула афганская война. Первого сентября восемьдесят первого военный «газик», в котором ехали капитан Николай Гуськов и его жена, старший лейте-

нант медицинской службы Марина Гуськова, подорвался на mine под Кандагаром.

Семилетняя Оля Гуськова, в белом фартучке, с тремя красными гвоздиками, шла в первый класс. О том, что у нее больше нет родителей, она узнала только через месяц. Она еще не могла понять, что это значит, слишком маленькой была, слишком редко видела маму с папой, не успела к ним привыкнуть. Но плакала бабушка Ива, и это было так странно и страшно, что у Оли по щекам сами собой покатались слезы.

Во втором классе Оля слышала, как какая-то девочка из восьмого сказала о ней:

– Потрясающе красивый ребенок!

Вечером Иветта Тихоновна пришла забирать ее с продленки.

– Бабушка, я красивая? – спросила Оля.

– Глупости какие! – фыркнула бабушка.

По дороге она рассказала Оле старинную якутскую сказку про девочку со странным именем Айога. Девочка ничего не делала, только смотрела на себя в круглое медное зеркальце и повторяла: «Айога красивая», а потом превратилась в утку, улетела в ледяное северное небо, и долго еще звучал в тундре ее жалобный, кричающий крик: «Айога красивая...»

– Значит, красивой быть плохо? – спросила Оля, выслушав сказку.

– Плохо об этом думать, – ответила бабушка, – плохо счи-

тать, что ты чем-то лучше других. Ты не лучше и не хуже. Такая, как все.

Оля училась на пятерки. На переменах стояла у подоконника и читала. Ее называли паинькой, с ней было скучно. Летом бабушка отправляла ее в пионерский лагерь. Оля и там умудрялась незаметно ускользать из сложного мира детских отношений.

Она делала все, что требовали вожатые и педагоги, маршировала на линейках, убирала территорию, спала в тихий час. Если ее приглашали принять участие в концерте, посвященном открытию или закрытию лагерной смены, она охотно соглашалась и выразительно декламировала со сцены клуба стихотворение Некрасова «Школьник» или отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин».

– У этой девочки родители погибли в Афганистане, осталась только бабушка, – шептались в задних рядах вожатые, педагоги, поварихи.

– Бедный ребенок! Надо же...

– А хорошенькая какая! И послушная, спокойная...

К четырнадцати годам Олю уже не называли «хорошенькой». Про нее говорили: удивительно красивая девочка. Она слышала это со всех сторон. На фоне ровесниц, переживавших переходный возраст с его прыщиками, неуклюжестью, тяжелыми комплексами, Оля Гуськова казалась инопланетянкой, сказочно прекрасной, отрешенной от низменных земных проблем.

Ей было безразлично, как она выглядит и как ее воспринимают окружающие. Она жила в своем замкнутом, никому не понятном и не доступном мире. Обращать внимание на собственную внешность, придавать ей какое-то значение – фи! Это постыдно, мелко, недостойно.

Она ни с кем не дружила. Хотела, но не получалось. Ей было интересно общаться только на высоком духовном уровне. В семнадцать она рассуждала об агностицизме Канта, неогегельянцах и Кьеркегоре, мечтала уехать в сибирскую деревню, учить крестьянских детей, выполнять некую святую миссию, суть которой сама не могла толком понять и сформулировать. То она хотела принести себя в жертву добру и справедливости, осчастливить человечество, стать сестрой милосердия где-нибудь в холерной глуши черной Африки, то готовилась принять монашеский постриг, то всерьез рассуждала о необходимости разумного террора по отношению к мировому злу.

В голове у нее образовалась такая путаница возвышенных идей и великих целей, что разговаривать с ней было невозможно, даже о Канте. Посреди разговора она могла замолчать на полуслове, встать, уйти, ничего не объясняя.

По Канту, любой человек является непознаваемой «вещью в себе». Он одновременно не свободен как существо в мире конкретных явлений и свободен как непознаваемый субъект сверхчувственного мира. Оля Гуськова была субъектом совершенно свободным и непознаваемым. Никакой объ-

ективной реальности, никаких конкретных явлений она не признавала, в упор не видела. Она могла ходить летом и зимой в драных кроссовках и не замечала этого, могла питаться одной лишь духовной пищей, запивая ее жидким несладким чаем или просто водой, заедая хлебной или сырной коркой – что под руку попадет.

После десятого класса она решила поступить на философский факультет университета, первые два экзамена сдала на «отлично», на третий опоздала, перепутала день, на четвертый вообще не явилась, так как решила отправиться на Вологодчину, где при маленьком монастыре жил в скиту столетний старец. По каким-то сложным духовным причинам побеседовать с ним сейчас же, сию минуту, о вечном и высоком было важнее, чем тянуть экзаменационные билеты и писать сочинение про противного глупого Базарова, который резал лягушек.

Иветта Тихоновна переживала в это время глубокую личную драму – уход на пенсию. Для нее это казалось концом жизни, она не могла представить себя в роли просто старушки, а не ответственного работника народного образования. За внучку она была спокойна. Оля, по ее компетентному мнению, развивалась правильно, никогда не болела, школу закончила на пятерки, много читала, молодыми людьми и шмотками не интересовалась. Ну что еще нужно?

В университет Оля поступила только через три года. До этого она работала в библиотеке, ездила по монастырям,

продолжала жить в собственном сложном и странном мире, в котором православие переплеталось с дзэн-буддизмом, древний китаец Конфуций мирно спорил с Николаем Бердяевым, колготки были всегда рваными, на свитерах спускались петли, обувь протекала, а сине-лиловые глаза светились таинственным космическим светом.

Безумие бабушки Ивы ворвалось грубой реальностью в этот путаный, непонятный, но в общем счастливый мир, потребовало от Оли ответственных решений, бытовой суеты, собранности, колоссального терпения и, наконец, просто денег.

Оля не нашла ничего лучшего, как обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную. Ей объяснили, что старческое слабоумие не лечится, только прогрессирует и самостоятельно она с бабушкой не справится.

Оля решила, что на вырученные от обмена деньги можно нанять какую-нибудь добрую женщину для ухода за бабушкой и спокойно доучиться в университете. Однако найти такую добрую женщину она не сумела, а деньги кончились очень быстро. Просто взяли и кончились.

Оля кое-как сумела наладить нищий быт в однокомнатной квартире, подрабатывала после занятий – то уборщицей, то почтальоном. Заработок получался копеечный, но на большее Оля рассчитывать не могла. Ее сокурсники торговали в ночных ларьках, продавали вечерами в метро газеты. Само слово «торговля» вызывало у Оли тошноту. Случалось, что

к ней обращались с разными «серьезными» предложениями, но все это при ближайшем рассмотрении тоже сводилось к торговле, причем не газетами и «сникерсами», а собой.

Прошел год, Оля успела приспособиться к бабушкиной болезни, створки сложного внутреннего мира опять замкнулись, защищая от грубой реальности. Она осталась все той же «вещью в себе», нищий хлопотный быт отнимал у нее время и силы, но душу не задевал. Она смирилась с тем, что бабушка больна и никогда не поправится. Однако тут нагрянула другая беда, стихийное бедствие, мировая катастрофа: Оля Гуськова влюбилась.

Когда двадцатитрехлетняя студентка философского факультета, «свободный непознаваемый субъект» с томиком Ницше и православным Молитвословом в потертом рюкзаке, в джинсах, которые порваны на коленках не потому, что это модно, а потому, что все равно, с лицом сказочной принцессы, душой схимницы и мозгами революционерки-анархистки влюбляется впервые в жизни, да еще в женатого, богатого и легкомысленного человека, это действительно катастрофа.

* * *

– Ну, говорите, я слушаю, – устало вздохнула Катя, – вам, наверное, нечего теперь сказать. Все кончилось, Глеба нет больше.

Она уже хотела нажать кнопку отбоя на своем радиотелефоне, но услышала тихий мужской голос:

– Прости, это я.

– Паша? – Ее голос заметно дрогнул.

– Я просто хотел спросить, как ты себя чувствуешь?

– Спасибо. Нормально.

– Ты одна сейчас?

– Нет, я не одна, – зачем-то соврала Катя. – Скажи, пожалуйста, что произошло в театре между тобой и Глебом?

– Ничего особенного. Твой муж был недоволен, когда увидел меня в буфете. Он подошел и высказал мне все, что думает по этому поводу. Я не стал ему отвечать, как всегда. Он разозлился еще больше, попытался меня ударить. Он был пьян и не соображал, что творит. Я перехватил его руку, вмешались несколько человек. Его успокоили и увели.

– А потом?

– Я ушел. Я боялся, он не остановится на этом, увидит меня еще раз, и тогда уж не избежать громкого скандала. Мне не хотелось, чтобы это случилось на твоей премьере.

– Значит, во втором акте тебя в театре не было. Где же ты провел остаток вечера?

– Я просто слонялся по городу. Дошел пешком до Патриарших, посидел на скамейке, потом отправился домой. А цветы подарил какой-то прохожей старушке. Она очень удивилась и тут же, у меня на глазах, продала букет юной парочке, которая целовалась на соседней скамейке. Всего за

десятку.

– Дешево, – усмехнулась Катя, – букет наверняка был шикарный. Розы, как всегда?

– Да, семь темно-красных роз. Очень крупных. Знаешь, они казались в темноте почти черными, бархатными.

– Паша, я ведь просила тебя никогда мне не звонить, – вдруг спохватилась Катя.

– Зачем ты обманываешь себя, Катенька? Чего ты боишься? Особенно теперь...

– Паша, я ведь просила... Зачем ты позвонил именно сейчас? Чего ты хочешь?

Катя расхаживала по огромной гостиной с телефоном в руках. Собственный голос в тишине пустой квартиры казался ей неприятно громким.

– Не знаю, – честно признался он, – я подумал, ты одна, тебе плохо и, может быть, нужна моя помощь.

– Нет, мне не нужна твоя помощь. Не звони мне никогда. Ты ненавидел Глеба, а его нет больше. И я не желаю говорить с человеком, который... – Она заплакала и, не сказав больше ни слова, нажала кнопку отбоя.

«Сейчас он перезвонит, но я не возьму трубку», – подумала она, пытаясь успокоиться.

Но он не перезвонил.

Глава 4

Ирине Борисовне и Евгению Николаевичу Крестовским всегда хронически не хватало денег. Ирина Борисовна работала делопроизводителем в отделе кадров маленького НИИ и получала девяносто рублей в месяц. Евгений Николаевич, младший научный сотрудник того же НИИ, зарабатывал больше – сто десять рублей. А старшего научного сотрудника ему все никак не давали, хотя возраст подходил и стаж соответствовал. Другим давали, ему нет. Такой был человек – незаметный, невезучий. Не умел за себя постоять.

Минус налоги, плюс премиальные, и выходило двести двадцать в месяц. В начале семидесятых семья из двух человек могла вполне прилично существовать на эту сумму, тем паче соблазнов было не слишком много. Но Крестовские жили в огромной, гнилой, склочной коммуналке в старом аварийном доме и копили на хорошую кооперативную квартиру. Дом все собирались сносить, однако никак не сносили. А ждать становилось неимоготу.

Скромный семейный бюджет был рассчитан до копейки. Ирина Борисовна никогда не выбрасывала полиэтиленовые мешки, картонные пакеты из-под молока, пластиковые коробочки от сметаны. Все это она тщательно мыла, сушила, использовала для хозяйственных нужд. Не жалея времени и сил, распускала старые свитера, отпаривала пряжу, сматыва-

ла в клубочки. Вязать она не умела, но клубочки хранила.

Если кусок колбасы начинал неприятно пахнуть и предательски зеленеть по краям, Ирина Борисовна вываривала его в соленой воде, потом обжаривала в кулинарном жире, оставшемся на сковородке от позавчерашних котлет.

На буфете стояла специальная мыльница для обмылков. Когда их накапливалось достаточно много, Ирина Борисовна ловко лепила из них слоистый бесформенный комок, который опять домыливался до обмылка. В общей ванной Крестовские не держали ничего своего – ни мыла, ни зубной пасты. Не успеешь оглянуться, соседи потихонечку станут пользоваться, один раз, другой – и ничего не останется, надо новое покупать. А за руку ведь не поймаешь, не уследишь.

У Ирины была специальная тетрабочка, куда она переписывала остроумные рецепты с последних страниц журналов из рубрики «Хозяйке на заметку». Там рассказывалось, как можно использовать во второй и в третий раз то, что было уже использовано.

Жизнь откладывалась на потом, на светлое будущее в чистенькой, новенькой отдельной квартире. Там, на уютной кухне, за белоснежным пластиковым столом, у окошка с веселыми клетчатыми занавесками, будет и свежая колбаска, и сливочное масло вместо маргарина, и три куска сахара в вечернем чае вместо одного. Там, в красивой спальне с полированной стенкой, лаковым полом, на новенькой, обитой импортным велюром тахте можно будет зачать ребенка.

Годы шли. Деньги потихоньку текли на сберкнижку. Но до необходимой суммы было еще далеко. А коммуналку никто расселять не собирался. Ирине незаметно перевалило за тридцать. Со здоровьем у нее было неважно, что-то не ладилось по женской части. Она не беременела, но совершенно не переживала из-за этого. Все ее мысли и чувства были заняты деньгами, подсчетами, расчетами.

Если ее спрашивали, который час, она отвечала: «рубль тридцать» (вместо «половина второго»). Когда соседка варила яйца, она обязательно заглядывала в кастрюльку, пытаясь определить, какие это яички – за девяносто копеек или за рубль пять.

Если она иногда и задумывалась о ребенке, то сразу как-то механически начинала подсчитывать стоимость ситца и фланели для пеленок, расход мыла и стирального порошка на стирку. А потом – кроватка, коляска, ползунки... А ходить начнет? Это ж сколько обуви надо! Ужас!

Постепенно ребенок, не только не родившийся, но даже и не зачатый, сделался для нее еще одним потенциальным досадным источником расходов, а стало быть, препятствием на пути к новой, счастливой жизни в отдельной кооперативной квартире.

Она спокойно признавалась себе, что вовсе не хочет никакого ребенка, и вообще ничего не хочет, кроме собственной чистенькой кухни. Почему-то не комната, не ванная, а именно кухня с белым пластиковым столом и клетчатыми

шторками стала для нее символом абсолютного счастья.

Сотрудники маленького НИИ, как многие советские рабочие и служащие, раз в году проходили диспансеризацию. Она не была обязательной, но, если проводилась в рабочее время, никто не отказывался. Ирина, как человек аккуратный и законопослушный, посещала всех врачей, которых полагалось посетить.

Заходя в кабинет к гинекологу, она приготовилась в очередной раз услышать о своей неопасной женской болезни, которая, в общем, ничем, кроме бесплодия, не угрожает и которую в принципе неплохо бы вылечить. Обычно она кивала в ответ, брала направления на анализы и забывала об этом до следующего года, откладывая на потом. Вот будет квартира – тогда можно и вылечить свой удобный недуг.

На этот раз гинеколог, пожилая кругленькая женщина в очках с толстыми линзами, тоже стала выписывать направления на анализы, правда, ни словом об Ирениной болезни не обмолвилась.

– Значит, сейчас у нас октябрь, – задумчиво проговорила она, – ноябрь, декабрь... в конце января пойдете в декретный отпуск.

– Что? – не поняла Ирина. – В какой отпуск?

Врач взглянула на нее с интересом. Сквозь линзы глаза казались огромными, сердитыми и удивленными.

– В декретный. А рожать вам в середине апреля.

– Как рожать? Кого?! – ошалело выкрикнула Ирина.

– Ну я не знаю кого, – пожалала плечами доктор, – это уж как Бог даст. Может, мальчика, может, девочку...

– Но я... У меня же спайки!.. Я не могла... Нет, этого не может быть!

– Подождите, вы что, до сих пор не знаете? – Врач вскинула брови, и глаза за линзами показались еще больше. – У вас срок семнадцать недель.

Ирина ахнула и побледнела.

– Чего ж вы так испугались? Вы замужем, вам, на минуточку, тридцать пять. Пора уже, миленькая моя. А спайки ваши рассосались. Это бывает.

– А можно аборт? – с надеждой прошептала Ирина. – Дайте мне направление...

– Да вы что? – покачала головой доктор. – Вы смеетесь? Семнадцать недель!

Ирина заплакала прямо в кабинете. В голове у нее с бешеной скоростью завертелся счетчик: метр ситца – рубль двадцать... фланель – два рубля восемьдесят копеек... марля для подгузников...

Евгений Николаевич отнесся к важной новости вполне спокойно.

– Ну а чего тянуть? Правильно, все нормально. Вон Свекольникова из планового отдела родила, так им просто так квартиру дали, в порядке улучшения жилищных условий.

– Ага, как же! У Вальки Свекольниковой муж на военном предприятии работает! Потому и дали! – кричала Ирина.

– Ладно, не переживай. Только смотри, чтоб парня мне родила.

Живот рос как на дрожжах. Ни одна юбка не застегивалась, как ни переставляй пуговицы. От проваренной-прожаренной колбасы с душиком тошнило, даже рвало. Хотелось всего свежего. Фруктов хотелось, рыночного творогу. Но это ж какие деньжищи! Вместо фруктов Ирина ела в столовой НИИ витаминный салат из желтоватой сладкой капусты, с отвращением жевала кислые сухие комки магазинного творога. Раньше никакого отвращения не было. Что дешевле, то и ела. А теперь ребенок у нее внутри тяжело, отчетливо шевелился, казалось, он требует, возмущается и не даст покоя, пока не получит своего. Вареной курятины например. Срочно, большой кусок. Без хлеба, без гарнира.

Чем больше становился Иринин живот, тем чаще и настойчивей Евгений Николаевич говорил о мальчике, о сыне. И сама Ирина не могла себе представить ребенка другого пола.

Старушка, соседка по коммуналке, разбиралась во всяких народных приметах. Если живот торчит огурцом – значит, мальчик. У Ирины живот торчал огурцом. Утром хочется соленый сухарик – мальчик! Ну-ка, покажи руки! Правильно, если показываешь ладонями вниз – мальчик.

Все совпадало. Никаких не было сомнений. Мальчик. А кто же еще?

Ей представлялся бело-розовый щекастенький младенец

с золотыми локонами, в красивом голубом конверте с оборочкой. Такой конверт обещали купить в подарок сослуживцы. И возможно, уже купили вместе с голубым чепчиком и голубыми шелковыми лентами.

Роды были долгими, тяжелыми. Ирина лежала под капельницей, и ей казалось, что ее перепиливают пополам. Вокруг нее суетилась целая бригада врачей и акушеров, ребенок застрял и не хотел выходить, была опасность асфиксии, Ирины кричали, чтобы она тужилась, иначе ребенок задохнется, погибнет, но она не понимала, не чувствовала ничего, кроме чудовищной, невозможной боли, и хотела только одного: чтобы эта боль кончилась. Как угодно, чем угодно, лишь бы кончилась.

– Ну поработай сама, хотя бы немного! Потеряешь ребенка! Ты меня слышишь? Тужься! – кричал врач ей прямо в ухо.

– А-а! Ох! Мама! Не могу-у! – кричала в ответ Ирина.

– Так. Все, накладываем щипцы, – сказал врач, – сердцебиение сто шестьдесят.

И в этот момент, как бы спохватившись, испугавшись, ребенок выскользнул сам.

Ирина сначала ничего не поняла. Просто кончилась боль. Отпустила. Даже не верилось. А потом, как сквозь вату, она услышала:

– Девочка.

«Это не у меня, – подумала она, – у кого-то рядом».

– Смотри, кого родила.

Перед ней было бруснично-лиловое, мокрое, сморщенное, противно орущее, покрытое какой-то беловатой смазкой существо. И ничего общего с тем бело-розовым, гладеньким щекастеньким мальчиком с золотыми кудряшками, в голубом конвертике с оборочкой. Даже отдаленно – ничего общего.

– Ну, посмотри, кого родила! Посмотри и сама скажи, кого. Ну? – с радостной улыбкой повторяла акушерка.

– Никого, – тяжело выдохнула Ирина и отвернулась.

Было ясное апрельское утро 1974 года. Девочку назвали Маргаритой.

* * *

– Ну глазами-то работай! Лицом соображай, лицом... Придумывай, ищи свой шанс. Ты его любишь, но должна обмануть, подставить. Это же целая буря чувств и мыслей! Пользуйся, играй. Здесь твой крупешник, забыла, что ли? Ну! Ты же не кукла, не банальная шлюха, ты агент. Нет, стоп. Никуда не годится!

Режиссер громко хлопнул в ладоши. Оператор выключил камеру. Маргоша, поеживаясь, накинула халат и закурила. Было холодно. Съёмки проходили в сыром безобразном подвале, заваленном какими-то трубами, ящиками, кусками ржавой арматуры. Для пущей достоверности стены полили

кое-где глицерином, получились мерзкие подтеки, по которым камера скользила долго и с удовольствием. На фоне сырости и грязи белокожая красавица Маргарита Крестовская, почти голая, в разодранном кружевном белье, прикованная наручниками к трубе, выглядела очень впечатляюще.

Снимали одну из ключевых сцен боевика из жизни российских и кавказских уголовников. Главная героиня, «центровая» проститутка Ирина Соловьева, завербованная одновременно кавказской мафией и милицией, выполняет ответственное и рискованное задание, становится любовницей молодого частного детектива Фрола Добрецова, который оказывается единственным порядочным человеком во всеобщей мафиозно-милицейской помойке, а потому всем мешает.

К благородному Фролу идут за справедливостью униженные и оскорбленные сегодняшним беспределом предприниматели, вдовы, сироты, одинокие старики. И он, не щадя себя, борется за справедливость. Он неуязвим, почти бессмертен, как пелось в песне времен Гражданской войны, «смелого пуля боится, смелого штык не берет».

И вот доведенные до отчаяния злодеи, кавказские мафиози и продажные милицейские чины, подсылают к нему этакую роковую красотку, Джеймса Бонда в прелестном женском облике. Однако бывшая проститутка Ирочка, видевшая в жизни только грязь и предательство, влюбляется в благородного Фрола.

Сценарий был написан по роману известного детективщика Кузьмы Глюкозова. Глюкозов являлся фигурой вымышленной, под псевдонимом работал целый концерн, лепивший романы про Фрола Добрецова по дюжине в год.

Пять человек – два поэта, бывший следователь рай-прокуратуры, бывший журналист-международник и пожилая дама-редактор – четко распределили обязанности в создании бестселлеров. Следователь ведал криминально-юридической частью, вспоминал старые уголовные дела. Один из поэтов разрабатывал сюжетную основу, второй отвечал за диалоги, журналист включался в работу, когда действие переносилось куда-нибудь за границу, а также писал красочные сцены мордобоя, так как имел в молодости второй юношеский разряд по вольной борьбе и увлекался всякими восточными единоборствами. Дама-редактор обрабатывала текст, отвечала за стилистическую целостность и щедро слабривала коллективную литературную стряпню порнографической клубникой.

За четыре года ретивая пятерка заработала не только огромные деньги, но и покорила сердца благодарных читателей. Суперсыщик Фрол Добрецов пользовался колоссальной популярностью. Писатель Кузьма Глюкозов стал явлением в литературной жизни России, о нем писали, у него брали интервью, его книги рекламировались в телепередачах «Круг чтения» и «Домашняя библиотека».

Для журналистов и широкой общественности роль гени-

ального, плодovitого, как крольчиха, Кузьмы Глюкозова играл бывший советский поэт Владимир Симонович, тот, который разрабатывал сюжетные основы и, в общем, был душой концерна. Его фотографии печатались на обложках книг, он давал интервью, участвовал в телевизионных ток-шоу.

Разумеется, нашлось немало журналистов, которые быстро докопались до истины и пытались в разных интервью задавать Симоновичу каверзные вопросы насчет коллективного творчества. Кузьма Глюкозов снисходительно усмехался и говорил, что его забавляют подобные слухи, завистников много, значительно больше, чем талантливых писателей. Разумеется, у него есть консультанты, есть редактор, но творит он сам, один, ночью, на кухне, в двухкомнатной квартирке, и суровая детективная муза жарко дышит ему в затылок, не дает ни минуты покоя.

Создатели образа великого Фрола Добрецова не питали иллюзий. Все пятеро понимали, что романы Глюкозова дерьмо, и не стеснялись говорить об этом в своем узком кругу. Потребитель бестселлеров представлялся им сексуально озабоченным ублюдком с садомазохистскими наклонностями. Огромные тиражи Кузьмы Глюкозова не залеживались на книжных развалах. Вот уже четыре года дерьмовый товар пользовался неизменным спросом, и это полностью подтверждало правоту неутомимых производителей.

Именно Симоновичу пришла в голову замечательная идея запустить еще и серию фильмов по романам. Часть денег

на кино отвалил сам Кузьма Глюкозов, но нашелся и солидный банк, готовый внести свою лепту в экранизацию бестселлеров. Книги шли огромными тиражами, на видеокассетах можно наварить очень недурные деньги.

Молодой режиссер Вася Литвиненко успел прославиться парой серьезных талантливых лент, получить несколько престижных кинопремий, в том числе одну международную, после чего замолчал на три года. На серьезное кино денег никто не давал. Впрочем, на несерьезное тоже. Отечественных фильмов с каждым годом снималось все меньше, и долгое вынужденное молчание смягчило Васины жесткие требования к качеству сценариев, творческий голод сделал его всеядным, он готов был снимать что угодно – лишь бы снимать.

Задумав экранизировать романы, Симонович-Глюкозов остановил свой выбор на молодом талантливом режиссере Василии Литвиненко не потому, что его заботило качество будущей кинопродукции. Он был уверен: кассеты с фильмами пойдут еще лучше, чем книжки, кто бы эти фильмы ни снял. Просто большие деньги приучили его покупать все самое лучшее – еду, одежду, мебель, женщин и так далее. А режиссера Литвиненко он искренне считал лучшим. Вот и решил купить.

На роль Фрола Добрецова был приглашен обаятельный молодой актер Николай Званцев. Его партнершей стала Маргарита Крестовская, признанная самой сексуальной актрисой года.

Съемочная группа работала с брезгливой ленцой. Каждый считал, что занимается не своим делом, у актеров от диалогов сводило скулы. Только Литвиненко искренне пытался как-то вытянуть тупой сюжет, внести хоть немного тепла и смысла в образы персонажей, которые больше походили на биороботов и зомби, чем на живых людей. Он, в отличие от других, совестился производить дерьмо, а потому был невыносим на съемочной площадке, нервничал, изводил актеров своими замечаниями, требовал играть там, где играть совершенно нечего.

– Вася, ну чего ты так завелся? – Николай Званцев снисходительно потрепал режиссера по тощему сутулому плечу. – Мы что, нетленку вяем?

– Я хочу снять приличное кино, – буркнул Литвиненко.

– Брось, – Званцев морщился, – сценарий говно, и спонсоры отвалили денег, чтобы ты снял говно, ибо зритель хочет исключительно говна, а хорошее кино никому на фиг не нужно.

– Слушай, если все время повторять это слово, начнет изо рта вонять, – лениво заметила Маргарита Крестовская.

Она загасила сигарету, сладко потянулась, потрянула роскошной медно-рыжей шевелюрой.

– Сквозь экран вонь не проходит. – Званцев посмотрел на часы. – Ладно, ребята, мы сегодня работаем или как? У меня спектакль через полтора часа.

– Вонь, между прочим, неистребима и проходит сквозь

любые преграды. Это во-первых. А во-вторых, мы не можем работать. Вася моим лицом недоволен, – равнодушно заметила Маргоша, – физиономия моя его не устраивает. Чувств-с не хватает.

– Мыслей, – уточнил режиссер, – ты играешь куклу безмозглую, и поэтому тебя не жалко, с тобой неинтересно. Ты должна быть не только хитрой, но и умной. Разницу понимаешь?

– Вася, ты в сценарий давно заглядывал? Ты хоть один роман про Фрола до конца прочитал? И вообще ты по улицам ходишь? В метро едешь? – Маргоша устало вздохнула. – Ты видел лица, на которых есть тень мысли? Вглядишься в физиономии в общественном транспорте, взглядишься внимательней и подумай: вот они, наши драгоценные зрители. Я, между прочим, играю нормальную современную девку, хитрую, жестокую, с хорошей хваткой. Ей все по фигуре, она через любого перешагнет и ноги вытрет. Ирка-проститутка, бандитская подстилка, ментовская шпионка. Все. Не более того, понимаешь? Ты кого из нее хочешь слепить? Софью Ковалевскую? Блеза Паскаля в мини-юбке? – Маргоша почти кричала.

Она не заметила, как завелась. Ее раздражало, что примитивную сцену из идиотского боевика, в котором и играть-то нечего, они мусолят третий час, снимают дубль за дублем.

– Человека, – произнес режиссер совсем мрачно, – обычного живого человека. Которого жалко, за которого страшно.

– А скажи, пожалуйста, дорогая Маргоша, – ехидно спросил Званцев, – когда ты в последний раз ездила общественным транспортом?

– Не беспокойся, ездила, – фыркнула Маргоша.

– Кто убил Глеба Калашникова? – вдруг ни с того ни с сего заорал Вася. – Думай об этом! Поняла? Думай, анализируй! Это ведь важно для тебя! Ты мужа своего любишь? Вот, у него убили единственного сына!

По красивому лицу Маргоши пробежала тень. В подвале повисла неприятная тишина. Все с осуждением покосились на Васю. У Маргоши действительно трагедия в семье. И напоминать ей об этом сейчас ради того, чтобы подсластить живыми чувствами откровенную халтуру, которой они все здесь занимаются, – неуместно, нетактично, кощунственно даже.

Глеб Калашников Маргоше все-таки близкий родственник. Конечно, слово «пасынок» звучит двусмысленно, если учесть, что мачеха моложе его на десять лет. Но семья есть семья. Смерть Глеба – это одно, а идиотский боевик – совсем другое. Надо отделять зерна от плевел.

– Маргоша, ты на него не обижайся, – Званцев прервал неловкую паузу, – я, когда был маленький, снимался у Говорова в «Каменных лугах». Он, чтобы я заплакал в кадре, взял и свернул голову живому попугайчику у меня на глазах. Так что Вася у нас не совсем псих. Бывает хуже. Слушай, а когда похороны-то?

– В понедельник, – тихо ответила Маргоша, – в восемь панихида в казино, в десять отпевание на Новослободской, в церкви преподобного Пимена.

– А версии есть какие-нибудь?

– Не знаю. – Маргоша отвернулась, давая понять, что разговор ей неприятен.

* * *

В казино «Звездный дождь» игорные столы были накрыты черным крепом. Ресторан не работал, даже скатерти убрали. Портрет Глеба Калашникова в траурной рамке висел на самом почетном месте – у эстрады, где обычно выступали стриптизерки. Под портретом стояли огромные корзины с живыми цветами.

Охранник в строгом костюме проводил майора Кузьменко в кабинет управляющего.

Маленький гладкий толстяк лет сорока с пытением поднялся из вертящегося кресла и протянул пухлую влажную кисть.

– Гришечкин Феликс Эдуардович, – представился он со скорбным вздохом. – Кофе? Чай?

– Спасибо, кофе, если можно.

Иван уселся в мягкое кожаное кресло.

Бесшумно появилась красивая длинноногая секретарша, Гришечкин что-то быстро шепнул ей на ухо, девушка кив-

нула и удалилась. Хозяин кабинета устался на майора. В его маленьких круглых глазках читалась искренняя печаль и готовность ответить на любые вопросы.

– Скажите, Феликс Эдуардович, когда в последний раз вы общались с Калашниковым? – начал Кузьменко.

– Незадолго до трагедии, – Гришечкин тяжело, с астматическим присвистом, вздохнул, – буквально за час... Если не ошибаюсь, Глеб был убит в половине первого ночи. Мы виделись на премьере в театре, потом на фуршете.

– В его поведении в последнее время не было ничего необычного? Он конфликтовал с кем-нибудь?

– Всерьез – нет. Так, по мелочи...

– А именно?

– На премьере он довольно резко поговорил с каким-то поклонником Екатерины Филипповны. Но к делу это не относится.

– Вы уж сделайте милость, расскажите, а мы разберемся, относится это к делу или нет, – мягко улыбнулся майор.

– Да я, собственно, ничего не знаю, – неохотно начал Гришечкин, – какой-то парень, Катин поклонник, не слишком назойливый, но постоянный. Он появляется на всех премьерах и на многих спектаклях, с цветами. На этот раз Глеб был немного пьян и бросился выяснять отношения. Такое уже случалось и ничем не заканчивалось.

– То есть? – не понял майор.

– Этот человек молча разворачивается и уходит. Не счи-

тает нужным отвечать на выпады разъяренного мужа. А потом появляется опять. На премьерe было именно так. Глеб сказал резкость, поклонник ушел.

– А Екатерина Филипповна?

– Ее не было рядом. Все произошло в антракте, в буфете. А вообще она не вмешивается. Вежливо здоровается с этим парнем, улыбается, иногда принимает цветы. Если выпады Глеба слишком уж грубы, она может сказать: перестань, успокойся. Но не более.

– А как она сама относится к своему постоянному поклоннику?

– Никак. Она артистка, прима. У нее должны быть поклонники.

– И много их у нее?

– Из постоянных – только этот. Но повторяю, я ничего не знаю о нем, даже имени. Мне неинтересно, сами понимаете.

– Как он выглядит?

– Ну, от тридцати пяти до сорока, среднего роста... Да не приглядывался я к нему! Кроме меня, его видели многие, спросите кого-нибудь еще. Это не мое дело.

– Ладно, – легко согласился майор, – спрошу кого-нибудь еще.

– А лучше вообще не занимайтесь этой ерундой, – Гришечкин передернул жирными плечами, – Глеба заказали, это очевидно.

– Очевидно? – Майор удивленно поднял брови. – То есть

убийство Калашникова не было для вас неожиданностью?

– Нет, – поморщился Гришечкин, – вы меня неправильно поняли. Разумеется, никто не ожидал, все в шоке. И я тоже. Но согласитесь, в наше ужасное время заказное убийство коммерсанта, состоятельного человека – обычное дело.

– Не соглашусь, – покачал головой майор, – убийство любого человека нельзя считать обычным делом. Вы, стало быть, уверены, что Калашникова заказали?

– А вы? – прищурился Гришечкин. – Вы имеете основания сомневаться?

– Мы обязаны проверить все возможные версии.

– Сочувствую, – слабо улыбнулся Гришечкин, – лично я могу с ходу придумать около десятка разных версий.

– Например? Поделитесь хотя бы одной.

– Нет уж, – Гришечкин энергично замотал головой, – я лучше воздержусь.

– Почему?

– Это выглядело бы неэтично по отношению не только к вам, но и ко многим моим знакомым. Я могу предполагать, гадать, а это, согласитесь, не повод, чтобы называть вам конкретные имена. Вот я упомянул этого несчастного поклонника, и мне уже не по себе. Вдруг вы начнете его подозревать? А это смешно, в самом деле. Людей уровня Глеба Калашникова редко убивают из ревности или из зависти. В наше время такие мотивы вообще экзотика. Случается, конечно, но в другой среде. – Гришечкин устало прикрыл глаза и

покачал головой. – Боюсь, в процессе расследования вы не раз столкнетесь с возможными мотивами личного порядка. Если вас интересует мое мнение, не стоит тратить на это время и силы.

– Спасибо за заботу, – усмехнулся Кузьменко, – мы учтем ваш совет.

– Нет, я не собираюсь вам давать советы. Разумеется, вы все решаете сами. Но, к сожалению, не всегда успешно. Как показывает статистика, убийства такого рода редко раскрывают. Киллер наверняка был одноразовый, но заказчик... Я искренен с вами хотя бы потому, что меня тоже беспокоит заказчик. Я не исключаю, что стану следующим после Глеба. А что касается недоброжелателей, мстителей, обманутых женщин и ревнивых мужей, так это, простите, из области мыльных опер.

Иван заметил, что настроение его собеседника меняется каждую минуту. Лицо то краснеет, то бледнеет. Только что он говорил спокойно и рассудительно, а тут как-то сразу сник, словно из него выпустили воздух: последние слова он произнес медленно и вяло.

Секретарша принесла кофе в тонких чашках из настоящего фарфора. Майор отхлебнул и удивился – это была не обычная растворимая бурда, которую подают в кабинетах из вежливости, а отличный крепкий кофе по-турецки, с желтой пенкой, в меру сладкий.

– У вас замечательный кофе, Феликс Эдуардович.

– Это из бара. Если вы хотите курить, не стесняйтесь, я сам недавно бросил, но запах табачного дыма люблю.

Он подвинул майору большую хрустальную пепельницу. Иван с удовольствием затаился. Настроение собеседника между тем опять изменилось. Он заерзал в своем кресле, заговорил быстро и возбужденно:

– Я знаю, Глеба заказали. И все это знают. А насчет других версий убийства – да, тайных недоброжелателей у Калашникова было много. Он был человеком ярким, талантливым, везучим. Ну и, разумеется, многие завидовали. Но не смертельно. Нет, не смертельно. Никто не мог ожидать... Глеб и сам не ожидал, он был очень жизнелюбивым, очень... Ему все всегда сходило с рук, ему везло, он думал, что будет жить вечно.

Гришечкин покрылся испариной.

– Понятно, – кивнул Иван, как бы не заметив ни волнения своего собеседника, ни странной последней фразы. – У вас есть какие-либо предположения насчет заказчика? Вы кого-то конкретно подозреваете?

– Не знаю... – Гришечкин опять сник, стал вялым и отстраненным.

– Хорошо, – кивнул майор, – а почему вы опасаетесь стать следующей жертвой?

– Это простая арифметика! – вздохнул Гришечкин. – Когда убивают хозяина, следующим может стать управляющий. Вы сейчас начнете ворошить личную жизнь Калашникова,

найдете там много всякой гадости, а настоящего убийцу потеряете! Да, Калашников был не самым порядочным и чистым человеком, но не лезьте в это. Слышите? Его многие ненавидели, но никто не стал бы стрелять из кустов. Никто.

Толстяк опять завелся, перешел на крик, он побагровел и даже поднял руку, чтобы шарахнуть по столу, но в последний момент одумался, пухлая кисть безвольно, мягко упала на дубовую столешницу. Майор дал ему отпыхтеться и прийти в себя, молча наблюдал эту странную вспышку нервозности и пытался понять, чего здесь больше – искренней истерики, испуга или идет заранее продуманный, отрежиссированный спектакль.

«Зачем он так старается внушить мне, будто Калашникова могли только заказать? Неужели он надеется, что мы поверим на слово и не сунемся в личную жизнь его драгоценного шефа? Не может быть, он ведь не идиот... Однако он в который раз повторяет разными словами одно и то же. Зачем ему это?» – подумал Иван и медленно произнес:

– Однако кто-то все же выстрелил.

– Нодар Дотошвили. – Гришечкин назвал это имя еле слышно и тут же замолчал, лицо его резко побледнело, он прикрыл глаза и обессиленно откинулся на спинку кресла.

– Феликс Эдуардович, вам нехорошо? – осторожно поинтересовался майор.

– Нет, все нормально. – Гришечкин, не открывая глаз, помотал головой.

– Простите, Феликс Эдуардович, кто такой Нодар Дотошвили?

– Не валяйте дурака. – Гришечкин открыл глаза, и они показались майору красными, воспаленными. – Вы оперативник, у вас должна быть сеть своих информаторов. После убийства прошло больше суток, и вряд ли вы за это время не успели узнать про историю с бандитом Голбидзе и про его человека, Нодара Дотошвили. Голбидзе, по кличке Голубь, наезжал на наше казино, это был наглый, откровенный рэкет. А потом он внедрил к нам своего человека. Человек этот всюду совал свой нос, наблюдал за работой крупье, смотрел, кто сколько выигрывает и проигрывает, в общем, вел себя здесь по-хозяйски, не стеснялся.

– Простите, – перебил его майор, – а в каком качестве Нодар Дотошвили был внедрен в казино?

– А ни в каком! В том-то и дело, что он просто здесь ошивался каждую ночь, слонялся по залам, не играл, почти ничего не заказывал.

– Но ведь охрана могла бы не пускать его, – заметил Кузьменко.

– Как вы не понимаете? – поморщился Гришечкин. – Не пустить в казино человека Голубя без всякой уважительной причины, просто выставить вон – это вызов, то есть война. А воевать с Голубем открыто – это значит погубить заведение. У нас станет опасно. В любой момент может начаться стрельба. Сюда никто из приличных людей не придет. Мы не

можем так рисковать репутацией.

– Логично, – кивнул майор, – но из того, что Голбидзе хотел прибрать к рукам ваше казино, вовсе не следует, что его человек мог убить Калашникова.

– Вы не дослушали. Дотошвили все-таки стал играть и проиграл большую сумму, пятьдесят тысяч долларов. Отдать сразу не мог, очень испугался. Ведь главным условием его работы здесь было – не играть. Глеб дал ему отсрочку на неопределенное время, а по сути, простил долг.

– Значит, Дотошвили проиграл эти деньги в казино? – уточнил майор.

– Да. В «блэк джек».

– Но были свидетели игры, крупье, другие игроки. О долге знало достаточно много народу. Убивая Калашникова, он все равно оставался в должниках.

– Глеб сказал всем, что Дотошвили деньги отдал.

– Вот как?

– Именно так. Считается, что Нодар Дотошвили нашему казино ничего не должен. Правду знают двое – Глеб и я. А теперь только я. Вы понимаете, что у меня есть причины опасаться за свою жизнь?

«Ну, положим, кроме тебя, об этом знают и Ляля Рыкова, которая раскрутила Дотошвили на игру, и Лунек. Наверняка еще кто-то. А впрочем, ты прав. На самом деле не так уж много посвященных. Слухи ходили, но только слухи», – подумал майор.

Сам он узнал про историю с Дотошвили исключительно потому, что давно интересовался бандитом Голубем, внедрил своих информаторов всюду, где можно было Голубя зацепить.

Осведомитель, внедренный в казино недавно в качестве уборщика, оказался человеком добросовестным и дотошным. Он был уголовником с большим стажем, имел на молодого бандита Голубя свой зуб, а потому работал на совесть. Голубь давно зарился на этот лакомый кусок, у него был здесь особый интерес. И майора вот уже месяц интересовало все, что происходит в роскошном игорном заведении.

От своего осведомителя майор успел узнать также и то, что ходят упорные слухи, будто нервный управляющий подворовывает на своей прибыльной должности. Глеб Калашников, хоть и производил на многих впечатление человека легкомысленного и щедрого, деньги считал аккуратно. Гришечкина он за руку поймать не успел. Так, может, потому и не успел, что был вовремя убит?

Разумеется, Феликс Гришечкин в шефа из кустов не стрелял. Он оставался на фуршете до двух часов ночи. Его там видели несколько десятков людей. Алиби железное. Но нанять киллера мог запросто. Мотивы у него были, возможно, еще более весомые, чем у Нодара Дотошвили. Впрочем, на каких весах их можно взвесить, мотивы убийства?

Старушка, соседка Крестовских по коммуналке, все время мерзла. Круглые сутки в ее комнате был включен электрический камин. За электричество соседи платили отдельно, однако Ирина Борисовна, проходя мимо комнаты соседки, всякий раз бросала тревожный взгляд на счетчик, по которому быстро бежали черные цифры.

– Ирина Борисовна, вы не знаете, кто у нас сегодня по графику моет пол в коридоре? – спрашивала, не поднимая глаз от газеты, одинокая пятидесятилетняя бухгалтерша Григоренко.

Она почему-то всегда пила чай не в своей комнате, а в общей кухне, стоя у подоконника, дымя вонючим крепким «Пегасом».

– Не знаю, – раздраженно отвечала Ирина, помешивая манную кашу в алюминиевом ковшике.

– А зря. Ваш ребенок ползает по коридору, потом пальцы в рот запикивает. А вчера я видела, как она прямо с пола подобрала половинку сушки и стала грызть. Это негигиенично. Вы бы купили манеж и держали ребенка в комнате.

– А что вы мне указываете? Это мое дело. Вы вот курите в общественной кухне, а сами рассуждаете о гигиене, – огрызалась Ирина.

Соседка не оставалась в долгу, огрызалась в ответ. Ма-

ленькая Маргоша поднималась с коленок, стояла, крепко держась за фланелевый подол материнского халата, задрав голову в нежных рыжеватых кудряшках, глядела снизу вверх то на маму, то на толстую злую тетю, внимательно слушала, как обе кричат, а потом раздражалась оглушительным ревом.

– Не ори! – набрасывалась на нее Ирина. – Не ори, я сказала! – и больно шлепала по попке.

Маргоша плакала еще сильнее, закатывалась, падала на пол, начинала бить ножками в штопаных носочках.

– Ах ты дрянь! Гадина! Ты прекратишь орать когда-нибудь?!

Ирина пыталась поднять годовалую дочь с пола, от крика звенело в ушах, манная каша с шипением заливала общественную плиту. Бухгалтерша Григоренко гасила сигарету, надменно фыркала:

– Ужас какой! Зачем заводить детей, если не умеете с ними обращаться?

Зажав под мышкой захлебывающуюся криком Маргошу, держа в руке ковшик с пригорелой кашей, Ирина неслась в комнату.

– А кто будет мыть плиту? – вопила ей вслед торжествующая соседка.

Где-то совсем далеко, в радужном тумане, таяла несбыточная мечта о чистенькой отдельной кухне. Сверкал пластиковой белизной стол, покачивалась веселая клетчатая шторка.

Ирина насильно запихивала ребенку в рот невкусную пригоревшую кашу. На облупленном подоконнике в картонных бело-синих пакетах из-под молока прорастали влажные мягкие луковицы. В трехлитровой банке плавало в спитом чае огромное склизкое чудище, тяжелый слоисто-лохматый гриб.

Евгений Николаевич возвращался с работы все позже. От него пахло перегаром и дешевыми духами. В маленьком НИИ поговаривали о сокращении. Ирина ждала осени, когда можно будет отдать ребенка в ясли и выйти на работу. Но больше всего ей хотелось просто выспаться. Маргоша плакала каждую ночь, вредная Григоренко стучала в стену. Ирина ловила себя на том, что иногда спит на ходу.

Шел апрель 1975-го. Маргоше исполнился год.

А старушка соседка, которая знала народные приметы и обещала, что непременно будет мальчик, мерзла так сильно, что придвинула на ночь электрокамин к самой кровати. Бахрома ветхого пыльного покрывала прикоснулась к открытой раскаленной спирали нагревателя и тихонько тлела.

Глава 5

Павел Дубровин сидел за компьютером и не мог работать. Рука сама тянулась к телефону, и он постоянно одергивал себя.

«Нет, не трогай ее сейчас, оставь в покое. Ты так долго ждал, подожди еще совсем немного, дай ей опомниться. Вот ты позвонил, не выдержал, и что? Ничего хорошего. Подожди...»

Но рука все тянулась к телефону, пальцы нервно барабанили по трубке. А по экрану компьютера плыли разноцветные рыбки.

– Ты спишь, что ли? Если устал – иди пообедай.

Павел оглянулся. У него за спиной стоял замдиректора фирмы и удивленно глядел на экран. Все привыкли, что Паша вкалывает как проклятый, его монитор никогда не отдыхает, особенно сейчас, когда Дубровин разрабатывает новые программы обеспечения автоматического документооборота. Работы так много, что поест некогда.

– Я уже полчаса за тобой наблюдаю, – добродушно усмехнулся замдиректора, – ты сегодня не в себе. Не заболел? Может, тебя вообще домой отпустить?

– Да, – кивнул Паша, – голова раскалывается. Я пойду, пожалуй. Отлежусь, отосплюсь, а завтра утром навестаю.

На улице шел сильный дождь. Павел добежал по лужам

до своей черной «восьмерки», прицепил «дворники» к ветровому стеклу, сел за руль, вставил магнитофон в гнездо. Он никогда не ездил без музыки. Бардачок был забит кассетами. В основном классика, Моцарт, Вивальди, Мендельсон, Чайковский. Никакой попсы. Немного старого джаза, русские романсы, Вертинский.

Именно Вертинского он поставил сейчас, прежде чем завести мотор.

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрогнувшей рукой... —

запел, грассируя, мягкий тенор.

Черная «восьмерка» медленно выехала из проходного двора. Дождь заливал стекла.

Тогда, год назад, тоже был проливной дождь, и тоже пел Вертинский в машине. Неужели прошел год? Это много или мало? Для Паши — целая жизнь. Для Кати — пустяки, одно мгновение. Первого октября можно будет отпраздновать маленький юбилей. Вместе... Конечно, вместе. Теперь уже никто не помешает.

Ему захотелось проехать мимо того мрачного сталинского дома на Ленинградском проспекте, возле которого он год назад впервые увидел Катю.

Дубровин никогда не подрабатывал частным извозом. Он

был классным программистом и получал приличные деньги на фирме. В машине Коля отдыхал и слушал музыку. Посадить случайного пассажира – это почти то же, что пустить к себе в дом чужого, постороннего человека. Неприятно и рискованно.

Паша с детства был молчуном.

– Тебе бы в пустыню, в скит, – говорила мама, – почему ты все время молчишь? Расскажи, что было в школе, как прошел день?

– Нормально, – отвечал Паша, не отрывая глаз от книги.

– У тебя всегда все нормально. Что это? Чем ты так увлечен? «Физика твердого тела». – Мама хватала книгу и громко, с пафосом читала заглавие на обложке, тут же закрывала и клала куда-нибудь на буфет. – Нельзя все время читать. Ты испортишь зрение. С кем ты дружишь? О чем вы разговариваете на переменах? Почему ты не играешь в футбол, как все мальчишки? У тебя скоро день рождения. Хочешь, я напеку пирогов? Ты пригласишь мальчиков, девочек, мы организуем веселый праздник.

– Не надо.

Павел брал книгу, находил нужную страницу и под мамыны разумные речи читал, не поднимая головы.

– Павлуша, ну что с тобой делать? У всех дети как дети, а ты у меня прямо дикий какой-то. Ты что, стесняешься? Вроде не кривой, не косой, не заика. Ну поделись с мамочкой, расскажи, почему ты ни с кем не дружишь? Может, тебя оби-

жают? Дразнят?

– Нет.

Пашу никто не обижал, не дразнил. И в школе у него действительно все было нормально. Он не стеснялся, не комплексовал. Просто любому общению он предпочитал одиночество. Он искренне не понимал, зачем надо носиться и орать на переменах, гонять в футбол после уроков. Зачем курить в туалете и обсуждать, какие джинсы престижней – «Вранглер» или «Левис», кто забьет первую шайбу в завтрашнем матче между «Спартакoм» и «Динамо», у кого из девочек длинней ноги? Зачем громко ржать над похабными анекдотами? Зачем быть со всеми и как все, бегать в горячем подростковом табунке, если одному, с самим собой, интересней и уютней?

– Что ты переживаешь? – успокаивал маму отец. – Разные бывают дети. Общительные и необщительные, говоруны и молчуны. Ну, Павел у нас не коллективный человек, замкнутый. Ему нравится физика и математика. Разве лучше было бы, если бы он стоял вечерами в подъезде, брeнчал на гитаре, пил и целовался с девочками?

– Лучше! Нормальный подросток должен жить в коллективе. А девочки? Он ведь шарахается от них как от чумы.

– Галя, – вздыхал папа, – он нормальный подросток. Все свое время. Вот окончит школу, поступит в институт, станет взрослым, самостоятельным...

– Ага! – кричала мама. – И подцепит его на крючок ка-

кая-нибудь стерва! От природы не уйдешь, будет он к двадцати пяти годам дикий, неопытный, любая покажется королевой!

– Ну почему непременно стерва?

– Он дикий! Он ни с кем не общается, не приводит домой друзей, не разбирается в людях, с этим надо что-то делать!

Мама считала, что любить сына – значит воспитывать, а воспитывать – значит менять, ломать, совершенствовать. Жизнь без борьбы теряла для нее смысл.

После десятого класса Паша поступил в МГУ, на факультет вычислительной математики и кибернетики. На третьем курсе он впервые привел в дом девушку и тут же сообщил родителям, что женится. Поставил перед фактом.

Лерочка, Валерия, беленькая, мягонькая, душистая, как свежий бисквит, работала продавщицей в кондитерском отделе маленькой булочной на углу Бронной, училась заочно в пищевом институте.

Дубровин был тайным сластеной. Юная продавщица приметилла худого очкастого студента, встречала его нежной улыбкой, осторожно доставала из-под прилавка скромный кондитерский дефицит начала восьмидесятых – ванильную пастилу, мятные пряники, мармелад «Балтика».

Однажды он забежал перед самым закрытием, она попросила подождать у выхода. Потом они целовались на лавочке, на Патриарших прудах, и на губах был кисловатый мармеладный сахар.

Вся боевая мощь Пашиной мамы обрушилась на нежную Лерочку. Продавщица не пара ее талантливому сыну!

Разве нет интеллигентных девочек в университете? Надо что-то делать!

Начались проблемы с жильем, обычные московские проблемы. У Лерочки в двухкомнатной квартире теснились ее родители и старшая сестра с маленьким сыном. У Пашиных родителей хоть и была приличная трехкомнатная квартира, но она превратилась в поле боя. Лерочка и Пашина мама под одной крышей существовать не могли.

Павел устроился работать дворником ради сырой подвальной комнаты в Скатертном переулке. Ему нравилось ранним утром, до рассвета, сгребать листья, колоть лед. Тихо, пусто, никто не трогает, не пристаёт с пустыми разговорами. Листья шуршат, мороз потрескивает, позванивает капель. В каждом времени года своя красота, своя тишина, свои звуки и запахи.

Лерочка любила гостей, ночные посиделки с цейлонским чаем, кондитерским дефицитом, сладким дешевым «Токаем» и портвейном «Кавказ». Двери дворницкой не закрывались. Уходили и приходили какие-то нищие художники, поэты читали странные, расплывчатые стихи, забредали задумчивые хиппи с Пушкинской площади, кто-то все время ел, мылся в облупленной ванной с газовой горелкой, ночевал. Для Паши оставалось загадкой, каким образом Лерочка умудряется знакомиться и дружить со всей этой странной

публикой.

Кроме комнаты, была еще небольшая кладовка с мутным оконцем у самого потолка. Постепенно Павел переселился туда, не потому, что ему не нравился образ жизни, который нравился Лерочке. Просто он очень уставал. Вставал в пять утра, отработывал свою дворницкую норму, ехал в университет и засиживался там допоздна в компьютерной. В начале восьмидесятых компьютеры были огромными, о сегодняшних персональных еще и не мечтали.

Время шло. Дубровин закончил университет. Вдруг выяснилось, что тихий разумный Пашин папа многие годы любил другую, чужую женщину, и только ждал, когда вырастет сын. А потом ждал, когда жена переживет драму женитьбы сына. Дождался и ушел, прихватив с собой лишь пару костюмов, электробритву и зубную щетку.

Мама ринулась в свой последний и решительный бой. Это была ее лебединая песня. Она ходила на работу к отцу, к той женщине, обращалась в профсоюзную и партийную организации, даже написала письмо в журнал «Работница».

Когда все средства борьбы за мужа были исчерпаны, Галина Сергеевна почувствовала себя навеки побежденной, усталой, никому не нужной. Она стала болеть. Сначала Паша думал, что это продолжение вечного боя. Но вскоре выяснилось, что мама и правда больна. У нее нашли какое-то сложное заболевание сердца. Галина Сергеевна тихо угасла в кардиологическом отделении районной больницы.

Похоронив мать, Паша долго не мог опомниться, чувствовал себя виноватым, понял вдруг, что на самом деле маму свою очень любил. Не важно, какой она была, – любил, и все.

Они с Лерочкой переехали из дворницкой в опустевшую квартиру на Бронной. Лерочка закончила свой пищевой институт, бросила булочную, остригла белокурые волосы совсем коротко, «под ежик», нацепила на каждую руку по килограмму звонких серебряных браслетов и колец, закутала плечи арабским черно-белым платком с бахромой, купила маленький этюдник, акварельные краски и принялась рисовать абстрактные картинки, какие-то сине-розовые разводы, желтые кляксы.

Среди гостей, которые продолжали приходить толпами, попалось все больше странных людей. Особенно запомнился Паше мужичонка неопределенного возраста, маленький, почти карлик, обросший нечесаной грязной шерстью, словно леший. Стоял морозный январь, мужичонка был обут в резиновые шлепанцы на босу ногу. Протянув Павлу маленькую потную лапку с траурными длинными коготками, он произнес неожиданно глубоким басом:

– Меня зовут Вандерфулио, от английского «уандерфул».

В квартире пахло индийскими благовониями. Чай Лерочка заваривала из каких-то трав, питалась сырой крупой и репой. Вредные кондитерские изыски были забыты, как и прочая ядовитая белковая пища – мясо, рыба, сыр.

После окончания университета Дубровин работал в круп-

ном НИИ. К счастью, там была неплохая столовая. Постепенно он почти переселился в свой НИИ, уходил ранним утром, возвращался поздним вечером. Но Лерочка, казалось, этого не замечала.

Любые выяснения отношений, даже вполне мирные, с детства вызывали у Паши нестерпимую оскмину, почти физическую боль. Он предпочитал молчать до последнего, если его что-то не устраивало. Он знал: все равно Лера его переспорит, заболтает до смерти, станет доказывать, что он все в жизни делает неправильно – говорит, молчит, ест, спит, думает. И придется возражать, продолжать пустую, перевозную перепалку, пока не закружится голова и не зазвенит в ушах. А Лерочка все равно ничего не поймет, даже не услышит. Потому что люди, которые выясняют отношения, слышат, как правило, только самих себя.

Однажды ночью, глядя на него в темноте светлыми мерцающими глазами, Лерочка спросила:

– Павлик, у тебя открывается чakra во время оргазма?

– Что?

– Секс – это сложное и ответственное магическое действие, затрагивающее не только ментально-кармический, но и астральный аспект индивида. Ты груб, необразован и безграмотен в сексуальном плане, – заявила Лерочка, – с этим надо что-то делать.

Она стала объяснять, что и как у него должно открываться, закрываться и вибрировать, когда они занимаются любо-

вью. С ее нежных уст слетали всякие медицинские и мистические словечки, от которых у Паши заболел живот и подступила к горлу тошнота. Это была целая лекция, нудная и подробная. Он не дослушал, отправился спать в другую комнату, на диван, прихватив свою подушку. Однако диван был занят. Там, свернувшись калачиком, спал маленький лохматый Вандерфулио.

Остаток ночи Павел просидел на кухне, курил, пил пустой кипяток. Чай из травок вызывал у него отвращение, а нормальной заварки в доме не оказалось. Как, впрочем, и сахару.

На рассвете в кухню пришлепал босой Вандерфулио в грязных солдатских кальсонах, не сказав ни слова, попил воды прямо из-под крана, зевнул во весь свой беззубый лохматый рот и ушел назад, на диван, спать. Казалось, Пашу он вообще не заметил, словно перед ним было пустое место.

– Надо разводиться, – тихо и задумчиво сказал самому себе Дубровин.

Утром последовало мучительное, долгое выяснение отношений. Суть сводилась к тому, что он, Павел, бездуховная бездарная личность, придаток компьютера, живой мертвец, питающийся трупами животных, может катиться на все четыре стороны. А она, Лерочка, существо высшее, чистое и правильное во всех отношениях, никуда из этой квартиры не уйдет. Карма у нее такая – жить в этой квартире.

Паша сначала растерялся, потом разозлился. Уходить ему

было некуда. Да и с какой стати? О размене Дубровин даже думать не хотел, это дом его родителей, он здесь вырос. А высшему существу Лере между тем было куда уйти. Сестра успела выйти замуж, вместе с ребенком переехала к мужу. В двухкомнатной, с родителями, жить можно вполне.

Павел сам не ожидал, что в нем заложено столько боевой мощи. Наверное, это передалось от мамы и хранилось про запас, на всякий случай. Он-то считал себя человеком мирным, безобидным, всякая борьба ему была противна. Но тут, что называется, приперли к стенке. Выгоняли из собственной квартиры.

Дубровин стал действовать.

У сослуживца из НИИ нашелся знакомый адвокат по жилищным вопросам. Нашлись и деньги – программисты в те годы зарабатывали неплохо, Паша откладывал на машину. Потребовалось полгода, чтобы не только выставить, но и выписать Леру из квартиры. Половина денег ушла на адвоката и взятки всяким чиновникам, вторую половину он отдал Лере.

Наконец Павел остался один на своей родной и законной территории, правда, без мебели и без всяких сбережений. Приторный запах индийских благовоний, отдающий дешевым туалетным мылом, долго не выветривался, даже после ремонта.

С тех пор к каждой женщине, которая останавливалась на нем задумчивый томный взгляд, Дубровин стал относиться подозрительно. Если изредка и возникала с кем-то взаимная

симпатия, то стоило даме проявить настойчивость, заговорить о превратностях одинокого холостяцкого быта и о том, что главное для человека – семейный очаг, Паша исчезал из ее жизни бесследно. Не вспоминал и не жалел ни о чем.

Дороже покоя, надежней одиночества ничего нет и быть не может.

И вот однажды, мокрым октябрьским вечером, возвращаясь домой с работы, одинокий, осторожный Паша Дубровин увидел тонкую фигурку в светлом плаще под проливным дождем, без зонтика, с поднятой рукой и притормозил, сам не зная почему.

– Пожалуйста, подбросьте меня в ближайшее отделение милиции или хотя бы к посту ГАИ, – сказала она.

– Что случилось? – мрачно поинтересовался Павел, когда она оказалась рядом, на переднем сиденье.

– У меня угнали машину, – сообщила она вполне спокойно.

До ближайшего отделения милиции было не больше десяти минут езды. Любой нормальный автовладелец на месте Паши Дубровина стал бы расспрашивать, сочувствовать, давать советы. Но Павел молчал. Что-то такое было в этой незнакомой, насквозь промокшей девушке. Слова застредали в горле, он почему-то так волновался, что чуть не врезался в задницу медленного сонного троллейбуса.

Потом он пытался понять, откуда взялось это странное, острое, почти болезненное чувство. Он ведь сначала даже

не разглядел ее толком. Мокрая каштановая прядь, прозрачный, как карандашный набросок, профиль, запах дождя и духов.

– Спасибо, – сказала она у отделения милиции и протянула ему деньги.

Он не взял, даже не взглянул сколько, отрицательно замотал головой, опять не сказал ни слова. И никуда не уехал. Кассета с песнями Вертинского давно кончилась, он сидел в тишине. Только дождь стучал по крыше машины.

В милиции она пробыла долго. Паше показалось, что целую вечность. Стало смеркаться. Ему вдруг почудилось, будто она уже давно ушла, исчезла, растворилась в мокрых сумерках, а он не заметил и теперь никогда ее не увидит. Сердце больно стукнуло и остановилось на миг. Впервые за всю свою разумную, спокойную тридцатипятилетнюю жизнь Паша Дубровин не мог думать и анализировать, только чувствовал: если он больше ее не увидит, то, наверное, умрет.

Но она появилась на крыльце отделения, растерянно огляделась по сторонам. Он коротко просигналил. Она шагнула к его машине.

«Надо сказать что-то, иначе она решит, будто я псих, маньяк, испугается, не сядет в машину. На самом деле, я и сам не знаю теперь, может, я и правда псих? Молчу, как идиот, волнуюсь. А почему, собственно? Что в ней такого? Я ведь не мог влюбиться с первого взгляда, с полувзгляда... Этого не может быть. С мной, во всяком случае».

– Куда вас подвезти? – хрипло спросил он, выходя под дождь и открывая ей переднюю дверцу.

– Спасибо... – Она улыбнулась, растерянно и удивленно. – Мне неловко, вы не взяли денег и уже потратили на меня столько времени.

– Садитесь, – сказал он, – дождь...

– Мне нужно на Кропоткинскую. Если вам по пути... – Она все еще не решалась сесть в машину.

– Да, мне по пути.

– Но только на этот раз не бесплатно, – произнесла она, усаживаясь наконец на переднее сиденье. – Вы очень меня выручили. На самом деле я здорово опаздываю. У меня спектакль через полчаса.

Когда она опять оказалась в его машине, он немного успокоился.

– У вас спектакль? Вы актриса?

– Балерина.

– Вместо денег пригласите меня на балет, – попросил он.

– Можно и то и другое, – улыбнулась она. – Вы любите балет?

– Нет. Терпеть не могу.

Она взглянула на него с интересом. Машина стояла на светофоре. В полумраке салона светилось ее лицо, умытое дождем. Глаза казались огромными, совсем черными. Паша впервые решился посмотреть ей прямо в глаза и тут же понял, что пропал. Влюбился, окончательно и бесповоротно.

– И много вы видели балетов? – спросила она.

– Ни одного.

– А по телевизору?

– По телевизору я смотрю только новости, «Очевидное – невероятное», «Клуб кинопутешествий» и старые советские фильмы.

– Это замечательно. В таком случае я вас приглашаю.

Театр занимал маленький двухэтажный особняк в одном из тихих переулков неподалеку от Кропоткинской. Она попросила въехать во двор и остановить машину у служебного входа. Ей навстречу выскочила какая-то полная дама в развевающемся шелковом платье и закричала:

– Катя! Ты с ума сошла! В чем дело?

– Викуша, не волнуйся. Я успею. Посади, пожалуйста, этого молодого человека куда-нибудь на хорошее место. Без него я бы пропала. У меня машину угнали.

– Да что ты говоришь! Ужас какой! В милиции была? У меня есть знакомый гаишник, надо дать хорошую взятку, тогда найдут, – тараторила дама.

Они бежали по длинному пыльному полутемному коридору, уставленному огромными кусками разрисованного картона. Мимо проносились люди в гриме, в странных костюмах. Катя сунула Дубровину в руку какие-то смятые бумажки и тут же исчезла за дверью гримуборной.

Противный радиоголос сообщил:

– Внимание! Третий звонок! Артистов прошу на сцену.

Паша разжал кулак. Так и есть, деньги. Несколько десятитысячных купюр. Отличный повод, чтобы дожидаться после спектакля...

– Пойдемте. – Дама кивнула.

Через минуту он оказался в небольшом, полном зрительном зале. Место с краю, в третьем ряду, было чуть ли не единственным свободным. Свет уже погас, живой оркестр играл увертюру. Это была незнакомая модерновая музыка, от которой у Паши сразу заболела голова.

– Подождите! – Он схватил полную даму за руку. – Где мне найти Катю после спектакля?

– У служебного входа, – сердито прошептала дама и убежала.

Павел взглянул на сцену. Там не было никакого занавеса, просто черная пустота и в центре – высвеченное прожектором бесформенное сооружение из фольги и проволоки. Вой оркестра нарастал, сделался невыносимым. На сцене, рядом с непонятной проволочной конструкцией, появились два молодых человека в черных трико. Видны были только белые лица и кисти рук.

Скрипичное соло закрипело, взвизгнуло, сцена вспыхнула ослепительным светом. У Паши заслезились глаза, и ему стало жалко артистов, которые должны под такую музыку, при таком гадком освещении исполнять еще более гадкие танцы.

Катя танцевала ведущую партию, летала по сцене в синих

блестящих лохмотьях, с распущенными волосами. Нет, он сразу понял, танцует она отлично. Но сам балет показался ему ужасным. Он так и не разобрал, в чем там дело, что хотели сказать люди, создавшие это действо. Ведь много народу трудилось – композитор, балетмейстер, художник. А был еще некий изначальный сюжет, либретто, и его тоже кто-то сочинял. Интересно, о чем думали все эти вдохновенные творцы? Искренне пытались поведать миру нечто или сознательно куражились над будущим зрителем?

Он не сумел досидеть до конца, отправился к служебному входу. Ждать пришлось довольно долго. Внутри его не пустила охрана. В машину он сесть не рискнул, мог запросто не заметить в темноте, как Катя выйдет. Дождь все не кончался, и он вымок насквозь, стоя на улице.

Она ничуть не удивилась, увидев его у служебного входа. Павлу показалось, она даже обрадовалась.

– Я хочу вернуть вам деньги, – сказал он.

– Ни в коем случае! – Она отстранила его руку.

От прикосновения ее легких пальцев у него пересохло во рту.

– Пойдемте куда-нибудь, поужинаем вместе, – произнес он быстро и подумал: «Если она откажется, ничего страшного, я все равно теперь буду ходить на каждый спектакль, буду сидеть на этих отвратительных балетах, а потом ждать ее у служебного входа».

– Хорошо, – неожиданно легко согласилась Катя, – пой-

демте. Мне интересно поговорить с человеком, который терпеть не может балет и впервые в жизни попал на спектакль, да еще постмодернистский. Здесь есть замечательный маленький ресторан, в двух шагах от театра. Мы дойдем пешком, машину лучше оставить во дворе, наши охранники присмотрят. Знаете, я до сих пор не могу поверить, что мою угнали. Глупо страдать из-за этого. Беда не смертельная, и все-таки. Может, найдут, как вам кажется?

– Если не найдут, я буду вас возить, – выпалил Дубровин.

– Спасибо, – улыбнулась она, – но до личного шофера я еще не дозрела. Я хорошая балерина, довольно известная, однако пока не звезда мирового масштаба.

Кто-то в театре одолжил ей большой черный зонтик. Несколько кварталов до ресторана они шли рядом под одним зонтиком.

Когда сели за столик, она спохватилась:

– Я ведь даже не спросила, как вас зовут.

Он представился, церемонно встав со стула. Катя протянула ему руку. Он поцеловал прохладные пальчики, заметил, что на них нет никакого маникюра, ногти аккуратно подстрижены. Разумеется, а как же иначе? Он ведь терпеть не может, когда у женщины длинные накрашенные ногти.

Вообще все в ней было именно так, как ему хотелось. Прическа, одежда, духи, легкий макияж. Ничего лишнего. Если бы еще не этот идиотский балет...

Павел с удивлением узнал, что балет поставлен по пьесе

какого-то ужасно популярного современного драматурга, лауреата нескольких международных премий, литературных и театральных.

– Это постмодернизм в чистом виде, – объясняла Катя, – я сама, честно говоря, не выношу его, ни в музыке, ни в литературе, а в балете – тем более. Но в репертуаре театра должна быть пара-тройка экзотических монстров. Хотя многие считают, именно это и есть настоящее искусство...

– Я люблю классику, – сказал Павел.

– Тогда я приглашу вас на «Жизель».

– Да, пожалуйста, пригласите меня на «Жизель», и вообще я бы хотел посмотреть все спектакли, в которых вы танцуете.

– Неужели? Но вы ведь терпеть не можете балет.

– Теперь я стану балетоманом. Уже стал.

Они долго спорили, кто расплатится за ужин. Официант снисходительно усмехался. Наконец Паша победил. Катя со вздохом убрала в сумочку свою кредитку.

– Зря вы так. Для меня это копейки, – сказала она.

– Можно, я приглашу вас в гости? – спросил он, когда они опять оказались в машине.

Дубровин понимал, что для первого дня знакомства ведет себя чересчур навязчиво, но ничего не мог поделать. Она, разумеется, вежливо отказалась.

– Спасибо, как-нибудь в другой раз. Я очень устала, и ме-

ня ждет муж.

– Муж? – ошалело переспросил он. – Какой муж?

Да, конечно, он ведь не спрашивал, а она не сочла нужным с самого начала сообщить, что замужем.

– Настоящий, живой и законный, – рассмеялась Катя.

– А дети?

– Детей пока нет.

Она не поинтересовалась, женат ли он, есть ли у него дети. Она как бы давала понять, что этим вечером все должно закончиться, не начавшись. Они никто друг другу, просто случайные знакомые. Ну, поужинали вместе, мило поболтали. И привет.

«Ты ошибаешься, счастье мое. Ты теперь никуда не денешься от меня. Я не попрошу у тебя номер телефона, даже не напомним, что ты собиралась пригласить меня на „Жизель“. Я больше ничего такого не ляпну. Но это только начало, это наш первый вечер, их будет еще очень много, и вечеров, и ночей. Никакому мужу, и вообще никому на свете я тебя не отдам», – спокойно думал Дубровин.

– Спасибо вам большое, – улыбнулась она, выходя из машины у своего подъезда, – всего хорошего.

– До свидания, – кивнул он в ответ.

Неужели прошел год? Каждая минута того первого вечера врезалась намертво в память.

Павел остановил машину у мрачного сталинского дома на

Ленинградском проспекте, закурил, откинулся на спинку сиденья. Дождь все лил, ветер швырял пригоршни тяжелых капель в ветровое стекло. Мимо сновали прохожие. Заляпанный грязью пластиковый куб троллейбусной остановки был до отказа набит людьми. Те, кто не поместился под крышей, стояли рядом, скрючившись, как прошлогодние листья. Ветер трепал и вырывал из рук блестящие мокрые зонтики.

«Какая ранняя, холодная осень, – подумал Дубровин, – еще только сентябрь, а кажется, завтра выпадет снег».

В салоне было тепло и уютно. Работал магнитофон, пел Вертинский.

И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника
Обручальным кольцом...

Слова песни звучали надрывно и терзали душу.

Глава 6

Ирина Борисовна Крестовская никак не могла заставить себя открыть глаза. Маргоша кричала как-то особенно громко и настойчиво. Ирина протянула руку, нащупала деревянный прут кровати, не открывая глаз, стала катать ее туда-сюда. Но Маргоша продолжала надрываться. Ирина почувствовала странный запах и через секунду вскочила. В комнате пахло дымом.

Она схватила плачущего ребенка, принялась будить мужа. Евгений Николаевич страшно закашлялся. Кашляла и Маргоша, хрипло, надрывно. Ирина прикрыла ей личико широким рукавом ночной рубашки, распахнула дверь в коридор. Оттуда повалили клубы дыма.

– Буди всех! Звони 01! – кричала Ирина, дрожащими руками заворачивая Маргошу в одеяло, одновременно пытаюсь попасть ногой в тапочку.

Комната старушки пылала открытым пламенем. Телефон, единственный на всю квартиру, висел в коридоре. Евгений Николаевич бросился сквозь дым, кашляя, прокричал в трубку адрес, побежал назад, в комнату.

Ирина металась с ребенком на руках, пытаюсь что-то собрать, захватить, набить в чемодан, связать в узел. Комната наполнялась дымом. Новое зимнее пальто с цигейковым воротником не лезло в чемодан. У Ирины была свободна толь-

ко одна рука, а положить ребенка она не решалась. Тонкая стенка затрещала, закрипела, обои вздулись страшными пузырями.

– Прекрати! – Евгений Николаевич выхватил ребенка у нее из рук. – На улицу! Задохнемся! Сгорим!

Стоя во дворе, босиком на холодном асфальте, в притихшей толпе испуганных, кое-как одетых жильцов старого дома, Ирина смотрела, как пожарные вытаскивают через окно бесчувственную Григоренко в огромной, развевающейся белым парусом ночной рубахе, и думала, что, если бы не Маргоша, они тоже могли бы не проснуться. Задохнулись бы угарным газом во сне.

А Маргоша уже не кашляла. Закутанная в одеяло, она тихонько всхлипывала на руках у Евгения Николаевича. В огромных зеленых глазах, блестящих от слез, отражались последние, гаснущие языки пламени.

Не всех жильцов коммуналки удалось спасти. Сгорела во сне старушка, бухгалтерша Григоренко умерла в реанимации, не приходя в сознание, от сильного отравления угарным газом. Пламя распространялось очень быстро, и пожарные долго не могли его забить. Старый дом давно уже находился в аварийном состоянии.

Около месяца Крестовские прожили у родственников в Сокольниках. А потом получили без очереди отдельную двухкомнатную квартиру-распашонку в новом доме, причем

не на окраине, как другие, а почти в центре, неподалеку от Курского вокзала.

На маленькой кухне сверкал белым пластиком новенький стол, покачивались от теплого ветра веселые клетчатые занавески. На подоконнике в картонных пакетах из-под молока все так же прорастали мягкие луковицы. Распухший желтоватый чайный гриб жил теперь на полке у раковины. Трехлитровая банка на узком подоконнике не помещалась.

Утром по нежному личику Маргоши размазывалась невкусная, комкастая манная каша. Маргоша плакала, давилась, крутила головой, пыталась выплюнуть.

– Ешь, дрянь такая! – кричала Ирина и, скосив глаза, следила, сколько ложек сахара кладет себе в чай Евгений Николаевич.

Евгения Николаевича уволили из НИИ в связи с сокращением штатов. Он устроился технологом на завод, стал все чаще приходиться домой пьяным, иногда вообще являлся под утро, и запах чужих дешевых духов расплывался по комнате, бил Ирине в лицо. Она кричала, отмахивалась от чужого приторного духа, словно это был ядовитый угарный газ. Евгений Николаевич кричал в ответ. Маргоша с плачем забивалась под белый пластиковый стол.

Шел июнь 1975 года. В сентябре Маргошу отдали в районные ясли. Ирина вернулась на работу, все в тот же НИИ, на должность делопроизводителя отдела кадров. Ее не сократили.



– Хочешь, я поживу у тебя недельку? – Жанночка смотрела на Катю преданными, полными слез глазами. – Мне страшно оставлять тебя одну на ночь.

– Спасибо, Жанночка. – Катя оторвала руку от балетного станка и, опустившись на пол, стала массировать стопу.

Несмотря ни на что, она занималась у станка по три часа утром и по часу вечером. Часть спектаклей в театре отменили. Катя не хотела появляться на сцене в ближайшие полмесяца. Но не потому, что не могла танцевать. Просто она старалась как можно меньше бывать на людях, во всяком случае там, где ее могут достать журналисты и просто чужое любопытство, замаскированное под сочувствие.

Она выматывала себя партерным экзерсисом и занятиями у станка. Со стороны это выглядело странно, даже кощунственно. Всего два дня прошло со смерти мужа, он еще не похоронен, а Катя продолжает как ни в чем не бывало приседать в глубоких плие и задирает ноги в батманах до посинения, до десятого пота. Но она не собиралась играть роль безутешной вдовы. То, что происходит у нее в душе, – ее личное дело.

Вчера вечером пришли без звонка Константин Иванович с Маргошей, у обоих вытянулись лица, когда они застали Катю не в слезах и стенаниях, а бодрую, потную, разгорячен-

ную, в балетном трико.

– Извините, – сказала она, – я быстренько душ приму и переоденусь. А потом сварю кофе.

– Если ты не закончила, можешь продолжить при нас, – язвительно заметила Маргоша и чмокнула Катю в щеку.

– Нет, – спокойно ответила Катя, – я уже закончила.

Она проводила их в гостиную, а сама отправилась в ванную.

– Как ты хорошо держишься, деточка, – сказал ей вслед дядя Костя и покачал головой.

– Ну ты даешь, Катька, молодец, – добавила Маргоша.

Они оба ее осуждали. Они пришли утешать, а оказалось – не надо. Они готовы были вместе, втроем «кудри наклонять и плакать». А она при них не проронила ни слезинки. Вышла из душа, сварила кофе, поставила на стол бутылку коньяку, коробку французского печенья.

– Ты у тети Нади была? – спросил Константин Иванович после того, как они выпили по рюмке, не чокаясь.

– Была, – кивнула Катя.

Она хотела спросить: «А вы?», но сдержалась. Она знала: Константин Иванович только позвонил жене, но приехать к ней не решался. Духу не хватало. Он ведь за все три года, прошедшие после их развода, ни разу с ней не виделся. Ни разу. Звонил – да. Спрашивал о здоровье, аккуратно клал деньги на ее счет в Сбербанке.

К тете Наде Калашниковой Катя отправилась в первую

очередь. Ночью майор-оперативник спросил ее:

– Вы сами сообщите родителям мужа или вам тяжело? Мы можем это сделать в официальном порядке.

– Я сама, – сказала Катя.

Константину Ивановичу она позвонила в Париж почти сразу и сказала все прямым текстом. Она достаточно хорошо знала Калашникова-старшего. Разумеется, горе для него ужасное, но не смертельное. Он справится, переживет. Маргоша ему еще родит наследника, возможно, и двух. Все впереди. А вот тетя Надя... Она совсем одна на свете. Глеб был не самым лучшим сыном, но единственным. Да что тут говорить!

Катя не стала звонить свекрови ночью. Она дождалась восьми утра, села в машину и отправилась в Крылатское.

На полпути набрала номер и сказала:

– Тетя Надя, Глеба ранили, он в реанимации. Я буду у вас через полчаса.

Свекровь ждала ее не в квартире, а у подъезда. Сидела на лавочке, сгорбленная, в сером плаще, с хозяйственной сумкой на коленях. У Кати больно сжалось сердце.

– Давайте поднимемся в квартиру.

– Как? Зачем? Надо ехать в больницу! В какой он больнице? – Надежда Петровна вскочила и шагнула к машине.

Катя усадила ее на лавочку, села рядом и тихо произнесла:

– Глеба не ранили. Его убили. Сегодня ночью выстрелили из кустов, во дворе.

Взглянув в лицо свекрови, Катя подумала: «Хорошо, что у меня нет детей...»

Она взяла ее за плечи, повела в подъезд, они поднялись в квартиру. По сотовому позвонила Катина мама.

Сказала, что папа только что вернулся домой, ездил в аэропорт встречать дядю Костю с Маргошей. Они вылетели в Москву сразу, первым рейсом.

– Мамуль, ты не могла бы сейчас приехать, побыть с тетей Надей? – попросила Катя. – Ее нельзя оставлять одну.

Мама приехала через полтора часа. За это время Кате пришлось вызвать «Скорую». У тети Нади подскочило давление, начался гипертонический криз.

– Когда же ты успела побывать у Надежды? – судорожно сглотнув, спросил Константин Иванович.

– Вчера утром.

– Ну и как она?

– Был гипертонический криз, но «Скорая» справилась в домашних условиях. Врач сказал, в больницу пока можно не отправлять. С ней сейчас моя мама.

– Да, ужасно... – выдохнул Константин Иванович.

Маргоша стала массировать ему виски.

– Костенька, тебе плохо? – тревожно спросила она, заметив, что у него вздрагивают плечи.

– Нет, малыш, не волнуйся. Я держусь.

Маргоша положила голову ему на плечо. Он погладил ее роскошные медно-рыжие волосы. Катя заметила, что в

огромных зеленых глазах Маргоши стоят слезы.

– Сейчас тушь потечет. – Маргоша встала, тихо всхлинула и ушла в ванную.

– Бедная девочка, – вздохнул ей вслед Калашников, – бедный мой малыш. Я встретил ее в аэропорту, я был уже с вещами, и мы сразу взяли билеты в Москву, ей пришлось со мной возиться и в аэропорту, и в самолете. Я был в ужасном состоянии, можешь себе представить. А сегодня с утра ей пришлось поехать на съемку. Должны были снимать другой эпизод, проходной, в котором она не участвует, но, как узнали, что она вернулась, им сразу приспичило снять ключевой, один из самых тяжелых. Мало того, что Васька Литвиненко заставил ее работать в таком состоянии, режиссер хренов, он позволил себе еще и бестактную выходку, – Калашников махнул рукой, – все-таки хамство человеческое безгранично...

– Хотите еще кофе? – перебила его Катя.

– Кофе? Да, спасибо, детка, не откажусь.

Они просидели около часа, обсуждали предстоящие похороны и поминки. Все это время тонкие, тщательно отманикюренные Маргошины пальчики скользили то по щеке Константина Ивановича, то по его руке, то нежно поглаживали плечо.

– Завидую твоей выдержке, – сказал Калашников на прощание, – молодец. У вашего поколения вообще совсем другие чувства и другие ценности. Только Маргошенька моя не

от мира сего, так тонко и остро чувствует, так переживает...

Великий актер даже в горе оставался великим актером. Он страдал по сыну красиво, достойно, эстетично. Хоть включай кинокамеру и снимай для истории. И при этом продолжал умирать от любви к своей чувствительной Маргоше. «Ну почему, – думала Катя, когда за родственниками закрылась дверь, – почему от любви даже умный и талантливый человек становится восторженным идиотом? И горе его не берет».

– А ты все-таки стерва, – сказала себе Катя, – любишь судить других. На себя посмотри...

Никаких следов страданий на Катином лице не было. Однако пережитый шок давал себя знать. Сводило мышцы, чего раньше никогда не случалось.

Утром приехала Жанночка, и ее тоже слегка смутил Катин бодрый вид.

– Я знаю, – сказала она, – ты все держишь внутри. Это очень вредно. Лучше отплакаться сразу, зато потом станет легко. Ты как спала ночью?

– Нормально.

Катя проспала почти двенадцать часов. Без всякого сновидного. Просто вырубилась в десять вечера и проснулась в десять утра. Никаких ночных кошмаров у нее не было. Вообще ничего не снилось.

– Вот это меня и пугает, – заявила Жанночка, – слишком все нормально. Такое каменное спокойствие всегда пло-

хо кончается. – Она всхлипнула и предложила пожить с Катей недели две.

Катя не возражала. Впереди похороны, поминки, потом еще наверняка будут приходить люди.

– Что ты хочешь на завтрак, йогурт или овсянку? – спросила Жанночка.

– Йогурт.

– Знаешь, чем больше я думаю, тем страшнее мне становится. Не хочу тебя пугать, но вдруг все-таки стреляли в тебя? Ведь ты держала Глеба, вы стояли обнявшись. – Жанночка надела фартук и принялась за посуду.

– Глупости, кому я нужна? Глеб переспал с какой-то сумасшедшей, она раздобыла номер моего радиотелефона. Но из этого вовсе не следует, что она раздобыла еще и пистолет. Знаешь, Жанночка, то, что случилось, слишком серьезно, чтобы приплетать к этому безумных девиц, которые всю жизнь вокруг Глеба вились стаями.

– Почему ты не рассказала ничего следователю?

– Во-первых, звонки прекратились. Во всяком случае, уже сутки она не звонила. – Катя поднялась с пола и направилась в ванную. – Во-вторых, мне не хочется, чтобы кто-то рылся в нашем семейном грязном белье. В-третьих... – Катя не договорила и закрылась в ванной.

Ей меньше всего хотелось сейчас обсуждать эту неизвестную злобную идиотку с ее телефонными гадостями. Конечно, Жанночка отчасти права. У убийцы была возможность

выстрелить на несколько секунд раньше, когда они шли с Глебом к подъезду. Они ведь просто шли рядом. Если он метил в Глеба, логичней было бы...

«Стоп, – сказала себе Катя, – я не буду лезть в это. Логика убийцы меня не интересует. Слишком больно сейчас об этом думать, прокручивать в голове тот жуткий момент, звук выстрела, и как мы шли через двор, от машины к подъезду... Нет, хватит. И следовательно я ничего не буду рассказывать. Это обязательно дойдет до журналистов, они ухватятся. Такой лакомый кусок семейного дерьма, да еще с мистическим душком. Ведь дело не только в этих дурацких звонках...»

Катя вылезла из душа, закуталась в теплый халат. Из кухни вкусно пахло свежемолотым кофе. Хорошо, что Жанночка поживет здесь немного. С ней спокойней и уютней.

– Ешь. – Жанночка протянула ей горячий бутерброд с сыром, сверху тонкий ломтик малосоленного огурца, прозрачный кружок редиски и листик петрушки.

Она не могла просто положить кусок сыра на кусок хлеба. Приготовление любой еды, даже примитивного бутерброда, было для нее высоким искусством.

– Окно закрыть? – спросила Жанночка и поставила перед Катей стаканчик вишневого йогурта. – Ты дрожишь. Тебя знобит, что ли?

Катю действительно знобило. Она сидела съежившись, руки стали опять ледяными. У нее было низкое давление, руки и ноги всегда холодные, даже когда тепло. А в последние два

дня ее постоянно бил озноб, она согревалась только у балетного станка или под горячим душем.

– Закрой, – кивнула Катя, – и сядь, поешь. Не суетись.

Машинально спрятав руки в глубокие карманы халата, она нащупала в одном из них что-то мягкое и вытащила.

Это был лифчик. Обыкновенный белый женский лифчик, дешевый, простой, без всяких кружев и бантиков, явно не новый, ношенный. Взяв брезгливо, двумя пальцами, предмет чужого туалета, Катя поморщилась.

– О Господи, – выдохнула Жанночка, – подожди, не выбрасывай.

– Что, тоже следователю показать? В мешочек положить как улику? – нервно усмехнулась Катя.

– А ты уверена, что это не твой? – осторожно спросила Жанночка.

– Я такие в жизни не носила, к тому же он размера на два больше... – Катя встала, открыла шкаф под раковиной, бросила находку в помойное ведро и отправилась в ванную мыть руки.

– На тебе халат Глеба, – прошептала Жанночка ей вслед.

* * *

– Крестовская! Выйди из класса! И чтобы завтра с родителями!

– А в чем дело? – Маргоша смерила учительницу матема-

тики надменным насмешливым взглядом.

– Вон, я сказала! – Голос учительницы сорвался до визга.

Маргоша повела плечами, не спеша поднялась и очень медленно, плавной походкой манекенщицы направилась к двери. Класс молчал. Математичка провожала худенькую длинноногую девочку в слишком короткой форме, со слишком красивыми огненно-рыжими волосами ненавидящим взглядом.

Маргоша небрежно толкнула дверь ногой. Она старалась ничего не задеть руками. Тонкие пальцы были напряженно растопырены. На длинных ногтях еще не высох свежий бледно-розовый лак. Остановившись в проеме двери, она оглянулась, сверкнула яркой зеленью глаз и громко, нараспев, произнесла:

– Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Пушкин. «Евгений Онегин».

Соседка по парте Оля Гуськова, опомнившись, быстро завинтила бутылочку дешевого польского лака, спрятала в карман своего черного фартука. Сама она ногтей никогда не красила и об их красе не думала. Она знала, что Маргоша стащила лак у своей матери. Если сейчас математичка отнимет бутылочку, то Маргоше потом ужасно попадет. А так – она потихоньку положит на место, и все обойдется. Маргошина мать ничего не узнает. А в школу придет отец. Он тихий и Маргошу никогда не ругает.

Дверь сильно хлопнула. Маргоша изящно лягнула ее но-

гой снаружи. Математичка про лак забыла. Несколько секунд она стояла с открытым ртом. Лицо ее медленно багровело. Она забыла не только про лак, но и про урок, про класс, который замер и жадно ждал, что будет дальше.

А дальше учительница бросилась вслед за четырнадцатилетней нахалкой, догнала ее, схватила за бретельку фартука и потащила к директору. Дешевая рыхлая ткань треснула, бретелька с мясом оторвалась от пояска.

– Интересно, кто будет платить за испорченную школьную форму? – задумчиво, как бы размышляя вслух, произнесла Маргоша.

Директор, молодой, но уже лысеющий мужчина, долго успокаивал пытящую учительницу, налил воды из графина. Она пила жадно, и золотые зубы постукивали о тонкий край стакана.

Директор был человеком новой формации, в школу пришел недавно, долго задерживаться не собирался. Он не одобрял старые варварские методы воспитания и постоянно конфликтовал с учительским коллективом.

– Она ведет себя вызывающе! – кричала шестидесятилетняя математичка. – Она срывает уроки, красит ногти, не стесняясь, когда я объясняю новый материал! Она красит ресницы в четырнадцать лет! Она развращает других!

– Ресницы я не крашу. У меня они от природы такие, – спокойно произнесла Маргоша, – и никого я не развращаю. Просто вы, Зинаида Дмитриевна, плохо относитесь к девоч-

кам. Особенно к красивым. Да, нехорошо красить ногти на уроке. В этом я с вами согласна, вину свою признаю полностью. Извините. Но в остальном вы не правы.

– Замолчи, дрянь такая! Выйди вон! – Учительница крикнула так громко, что сорвала голос, хрипло закашлялась.

– Да, Крестовская, – поморщился директор, – выйди и подожди в коридоре.

– Таких надо гнать из школы! – сипло зашептала учительница, когда за девочкой закрылась дверь. – Совсем распустились! Озверели! Никакого уважения.

– Ну, уважение надо заслужить, – медленно проговорил директор, – и нельзя так кричать на детей. Да, девочка ведет себя несколько вызывающе, но вы сами провоцируете, унижаете ее. У них сейчас сложный переходный возраст, нельзя об этом забывать. Вам, кстати, сколько до пенсии осталось?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.